





ОВЦЕБЫКЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Интается травою, а при недостатка ся и лишаями.

Изъ зоодогін.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Погда я познакомился съ Василіемъ Петровичемъ, его уже звали «Овцебыкомъ». Кличку эту ему дали потому, что его наружность пеобыкновенно напоминала овцебыка, котораго можно видеть въ иллюстрированиомъ руководстви къ зоологін Юліана Симашки. Ему было 28 леть, а на видь казалось гораздо болье. Это быль не атлеть, не богатырь, но человъкъ очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василія Петровича было сврое и круглое, но круглое было только одно лицо, а черенъ представлялъ странную уродливость. Съ перваго взгляда онъ какъ будто напоминаль несколько кафрскій черенъ, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни подъ одну френологическую систему. Прическу онъ носиль такую, какъ будто нарочно хотыть ввести всёхъ въ заблуждение офигура своего «верхняго этажа». Сзади онъ очень коротко выстригалъ весь затылокъ, а напереди отъ уней его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василій Нетровичь обыкновенно крутиль эти косицы, и онв постоянно лежали свернутыми валиками на его вискахъ, а на щекахъ загинались, напоминая собою рога того животнаго, въ честь котораго онъ получилъ свою кличку. Этимъ косицамъ Вапо процессу, производивнемуся въ курскихъ присутственныхъ мъстахъ.

Въ Курскъ я прівхаль въ 7 часовъ утра въ май місяці, прямо къ Челновскому. Онъ въ это время занимался приготовленіемъ молодыхъ людей въ университстъ, даваль уроки русскаго языка и исторіи въ двухъ женскихъ пансіопахъ и жилъ не худо; имълъ порядочную квартиру въ три компаты съ передней, изрядную библіотеку, мягкую мебель, нісколько горшковъ экзотическихъ растеній и бульдога «Бокса», съ оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и по-

ходкой, которая слегка смахивала на канканъ.

Челновскій чрезвычайно обрадовался моему прівзду и взяль съ меня слово непремінно остаться у него на все время моего пребыванія въ Курсків. Самъ онъ обыкновенно обігаль цілый день по урокамъ, а я то навіщаль гражданскую налату, то бродиль безъ ціли около Тускари или Сейма. Первую изъ этихъ рікть вы совсімь не встрітите на многихъ картахъ Россіи, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще большую извістность она пріобріла черезъ устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободивъ Сейма отъ репутаціи ріки, «неудобной къ судоходству».

Прошло неділи двіз со дня прівзда въ Курскъ. Объ Овцебыкі никогда не заходило никакой різчи, я и не подозріваль вовсе существованія такого страннаго звіря въ преділахъ нашей черноземной полосы, изобилующей хліз-

бомъ, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во второмы пополудии. Въ передней меня встрътилы Боксъ, сторожившій наше жилище гораздо рачительнъе, чъмъ восемнадцатильтній мальчикъ, состоявшій въ должности нашего камердинера. На столь въ заль лежаль суконный картузъ, истасканный до-нельзя; одна грязныйшая подтяжка съ надвязаннымъ на нее ремешкомъ, просаленный черный платокъ, свитый жгутомъ, и тоненькая палочка изъльсной орышны. Во второй комнать, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватою кабинетною мебелью, сидъть на дивань запыленный до-нельзя человыкъ. На немъ были ситцевая розовая рубашка и свътложелтые панталоны съ протертыми кольнями. Сапоги пезнакомца были покрыты густымъ слоемъ былой шоссейной пыли, а

на кольняхъ у него лежала толстая книга, которую онъ читаль, не нагиная головы. При входо моемь въ кабинеть, запыленная фигура бросила на меня одинъ былый взглядъ н онять устремила глаза въ книгу. Въ спальнъ все было въ порядкв. Полосатая холстинковая блуза Челновскаго, въ которую онь облачался тотчась по возвращении домой, висвла на своемъ мість и свидітельствовала, что хозянна ньть дома. Никакъ я не могь отгадать, кто этоть странный гость, расположившійся такъ безцеремонно. Свирыный Воксъ смотрълъ на него, какъ на своего человъка, и не ласкался только потому, что нажинчанье, свойственное собакамъ французской породы, не въ характерв исовъ англосаксонской собачьей расы. Прошель я опять въ переднюю, имъя двъ цъли: во-первыхъ, разспросить мальчика о гостъ, а во-вторыхъ, вызвать своимъ появлениемъ на какое-нибудь слово самого гостя. Мнв не удалось ни то, ни другое, Передняя попрежнему была пуста, а гость даже не подняль на меня глазь и спокойно сидьль въ томъ же положенін, въ которомъ я его засталь пять минуть назадь. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться къ самому гостю.

— Вы, върно, Якова Иваныча дожидаете? — спросиль я,

остановясь передъ незнакомцемъ.

Гость ліниво взглинуль на меня, потомъ всталь съ дивана, плюнуль сквозь зубы, какъ уміють плевать только великорусскіе міщане да семинаристы, и проговориль густымь басомь: «ніть».

— Кого же вамъ угодно видъть? -- спросилъ я, удивлен-

ный страннымъ ответомъ.

— Я просто такъ зашелъ, — отвъчалъ гость, шагая по

комнать и закручивая свои косицы.

— Позвольте же узнать, съ къмъ я питю честь говорить? При этомъ я назвалъ свою фамилю и сказать, что я родственникъ Якова Ивановича.

— А я такъ, просто, —отвъчалъ гость и опять взялся за

свою книгу.

Тъмъ разговоръ и покончился. Оставивъ всякую попытку разръшить для себя появленіе этой личности, я закурилъ нанироску и легъ съ кингою въ рукахъ на свою постель. Когда придешь изъ-подъ солнечнаго припека въ чистую и прохладиую компату, гдъ нътъ докучныхъ мухъ. в есть

опрятная постель, необыкновенно легко засынается. Въ этогъ разъ я дозпалъ это на опыть и не замьтилъ, какъ книга выскользнула у меня изъ рукъ. Сквозь сладкій сонь, которымъ сиять люди, полные надеждъ и упованій, я слыпаль, какъ Челновскій читаль мальчику потацію, къ ко-торымъ тоть давно привыкъ и не обращаль на нихъ никакого вниманія. Полное же мое пробужденіе совершилось только, когда мой родственникъ вошелъ въ кабинетъ п крикиулъ:

— А! Овцебыкъ! Какими судьбами?

- Пришель, - ответнлъ гость на оригинальное приветствие.

— Знаю, что пришель, да откуда же? гдв побываль?

- Отсюда не видать.

- Эко. шутъ накой! А давио приножаловать изволиль?спросиль снова своего гостя Яковъ Ивановичъ, входя въ сиальню. — Э! да ты спишь. — сказаль онъ, обращаясь ко мив. — Вставай, брать. я тебф звфря покажу.

- Какого звъря?--спросилъ я, еще не совсвиъ возвратясь къ тому, что называють бубніемь, отъ того, что на-

зывается спомъ.

Челновскій ничего мий не отвітиль, но сняль сюртукь и накинулъ свою блузу, что было дёломъ одной минуты, вышелъ въ набинетъ и таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упиравшагося гостя, проговориль: Честь имью рекомендовать-Овцебыкъ. Интается травою, а при недостатки ся можеть Асть лишан».

Я всталь и протянуль руку Овцебыку, который въ продолжение всей рекомендации спокойно смотряль на густую вътку спреии, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

— Я вамъ уже рекомендовался, —сказалъ я Овцебыку.

— Слышалт и это, — отвъчаль Овцебыкъ: — а я кутейникъ Василій Богословскій.

- Какъ рекомендовался? - спросплъ Яковъ Ивановичъ. -Развѣ вы уже видълись?

— Да, я засталь здесь Василья... я не имею чести знать, какъ по батюшкъ?

— Петровъ былъ, — отвѣчалъ Богословскій.

— Это онъ быль, а теперь зови его просто «Овцебыкь».

-- Мић все ровно, какъ ни зовите.

 Э, пѣтъ, 'братъ! Ты Овцебыкъ есть. такъ тебь Овцебыкомъ и быть.

Скли за столъ. Василій Пстровичь налиль себ'в рюмку водки, вылиль ее въ ротъ, подержавъ нівсколько секундъ за скулою, и, проглотивъ се, значительнымъ образомъ взглянулъ на стоящую предъ нимъ тарелку супу.

— А студеню ивтъ развъ? — спросилъ онъ хозянна.

Натъ, братъ, нату. Не ждали сегодия гостя дорогого.
 отвачалъ Челювскій: — и не приготовили.

- Сами могли ѣсть.

--- Мы и супъ можемъ фсть.

- Соусники! прибавиль Овцебыкъ.

— II гуся нѣтъ? — спроснят онъ еще съ большимъ уди-

вленіемъ, когда подали зразы.

— И гуся ивть, — отвъчаль ому хозяннъ, улыбаясь своей ласковой улыбкой. — Завтра будеть тебъ и студень, и гусь, и каша съ гусинымъ саломъ.

— Завтра — не сегодня.

- Ну. что жъ ділать! А ты вірно давно не тіль гуся?
 Овцебыкъ посмотріль на него пристально и съ выраженіемъ какого-то удовольствія проговориль:
 - А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь влъ.

-- Hy-y!

- Четвертаго дия вечеромъ налачъ въ Съвскъ съблъ.

- Въ Съвскъ?

Овцебыкъ утвердительно махнулъ рукой.

- А ты чего быль въ Сѣвскѣ?
- Проходомъ инелъ.
- Да гдѣ же это тебя носило?

Овцебыкъ остановилъ вилку, которою таскалъ въ ротъ огромные куски зразъ, опять пристально посмотрълъ на Челновскаго и, не отвъчая на его вопросъ, сказалъ:

- -- Аль ты нынче табакъ пюхалъ?
- Какъ табакъ нюхалъ?

Челновскій и я расхохотались странному вопросу.

- Такъ.
- Да говори, милый звърь!
- Что языкъ-то у тебя свербить нынче.
- Да какъ же не спросить? Вѣдь цѣлый мѣсяцъ пропадалъ.

— Пропадаль? — повторилъ Овцебыкъ. — Я, брать, не

пропаду, а пропаду такъ не задаромъ.

— Проповъдничество насъ забло! — отозвался ко мнъ Челповскій. — «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищахъ и стогнахъ проновідывать въ нашъ просвіщенный выкъ не дозволяется; въ попы мы не можемъ идти, чтобы не прикоснуться жень, аки сосуду змъину, а въ монахи идти тоже что-то мишаетъ. Но ужъ что именио такое тутъ мъшаетъ — про то не знаю».

- И хорошо, что не знаешь.

— Отчего же хорошо? Чемь больше знать, темь лучше.

- Поди самъ въ монахи, такъ и узнаень.

- А ты не хочень послужить человьчеству своимъ ?лиотыно
- Чужой опыть, брать, пустое дёло, сказаль оригиналь, вставь изъ-за стола и обтирая себе салфеткой цёлое лицо, покрывшееся потомь отъ усердствования за обёдомъ. Положивъ салфетку, онъ отправился въ переднюю и досталь тамъ изъ своего пальто маленькую глиняную трубочку съ чернымъ обгрызаннымъ чубучкомъ и ситцевый кисетикъ: набилъ трубку, кисеть положиль въ карманъ штановъ и направился снова къ передней.

— Кури здёсь, — сказалъ ему Челновскій. - Расчихаетесь неравно. Головы заболять.

Овцебыкъ стоялъ и улыбался. Я никогда не встрвчаль человька, который бы такъ улыбался, какъ Богословскій. Лицо его оставалось совершению спокойнымъ; ин одна черта не двигалась, и въ глазахъ оставалось глубокое, грустное выраженіе, а между темъ вы видели, что эти глаза сибются, и сибются самымъ добрымъ сибхомъ, какимъ русскій человъкъ иногда потьшается надъ самимъ собою и надъ своею недолею.

— Новый Діогенъ! — сказалъ Челновскій вслідть вышед-шему Овцебыку: — все людей евангельскихъ ищетъ.

Мы закурили сигары и, улегшись на своихъ кроватяхъ, толковали о различныхъ человъческихъ странностяхъ, приходившихъ намъ въ голову по поводу странностей Василія Истровича. Черезъ четверть часа вощелъ п Василій Петровичь. Онь поставиль свою трубочку на поль у печки, съль въ ногахъ у Челновскаго и, почесавъ правою рукою лъвое илечо, сказалъ вполголоса:

- Кондицій искаль.
- Когда? спросилъ его Челновски...
- Да вотъ теперь.
- У кого жъ ты искалъ?
- По дорогв.

Челновскій опять засм'ялея; но Овцебыкъ не обращаль на это никакого винманія.

- Ну, и что жъ Богъ далъ? спросиль его Челновский.
- Нътъ ви шиша.
- Да шутина ты этакой! Кто же пщеть кондицій по дорогь?
- Я заходиль въ помѣщичы дома, тамъ спрашиваль, серьсзно продолжалъ Овцебыкъ.
 - Ну, и что же?
 - Не берутъ.
 - Да разумъется и не возьмуть.

Овцебыкъ посмотраль на Челновскаго своимъ пристальнымъ взглядомъ и тъмъ же ровнымъ тономъ спросилъ:

- Почему же это и не возьмуть?
- Потому, что съ вътру пришлаго человъка, безъ рекомендаціи, не берутъ въ домъ.
 - Я аттестать показываль.
 - А въ немъ написано: «поведенія довольно изряднаго»?
- Ну, такъ что жъ? Я, братъ, скажу тебѣ, что это все не оттого, а оттого что...
 - Ты Овцебыкъ, подсказаль Челновскій.
 - Да, Овцебыкъ, пожалуй.
 - Что жъ ты теперь думаеть дёлать?
- Думаю вотъ еще трубочку покурить,—отвъчалъ Василій Петровичъ, вставая и снова принимаясь за свой чубучокъ.
 - Да кури здъсь.
 - Не надо.
 - Кури: вѣдь окно открыто.
 - Не падо.
- Да что тебф, первый разъ, что ли, курить у меня свой любскь?
- Имъ будетъ непріятно, сказалъ Овцебыкъ, показывая на меня.
 - Пожалуйста, курите, Василій Петровичь; я-чело-

икъ привыкций; для меня ин одинъ дюбекъ ничего не значитъ.

- Да вѣдь у меня тотъ дубекъ, отъ котораго чортъ убѣгъ, отвъчалъ Овцебыкъ, налегая на букву у въсловѣ дубекъ, и въ его добрыхъ глазахъ опять мелькнула его симпатическая улыбка.
 - Ну, а я не убъту.
 - Значить, вы спльнёй чорта.
 - На этоть случай.
- Онъ о силъ чорта имъетъ самое высокое миъніе.
 сказалъ Челновскій.
 - Одна баба, братъ, только злъй чорта.

Василій Петровичь напихаль махоркою свою трубочку и, выпустивь изъ рта тоненькую струйку ѣдкаго дыма, осадиль пальцемъ горящій табакъ и сказаль:

- Задачки стану переписывать.
- Какія задачки? спросиль Челновскій, приставляя ладонь къ своему уху.
- Задачки, задачки семинарскія стану, моль, пока переписывать. Ну, тетрадки ученическія, не понимаешь, что ли?—поясниль онъ.
 - Понимаю теперь. Плохая, брать, работа.
 - -- Все равно.
 - Два цълковыхъ въ мѣсяцъ какъ разъ заработаеть.
 - Это мий все едино.
 - Ну, а дальше что?
 - -- Кондицін мив отыщи.
 - Опать въ деревню?
 - -- Въ деревию лучше.
- Н опять черезъ недёлю уйдешь. Ты знаешь, что опъ сдёлаль прошлой весной, сказаль, обращаясь ко мнв. Челновскій. Поставиль я его на місто, сто двадцать рублей въ годь платы, на всемь готовомь, съ тёмъ, чтобы онъ приготовиль ко второму классу гимназіи одного мальчика. Справили ему все. что нужно, снарядили добраго молодца. Ну, думаю, на мість нашъ Овцебыкъ! А онъ черезъ містяць опять передъ нами какъ выросъ. Еще за свою науку и бёлье тамъ оставиль.
- Ну такъ что же, если нельзя было пначе, сказалъ, нахмурясь. Овцебыкъ и всталъ со стула.

— A спроси его, отчего нельзя? — сказаль Челновскій,

снова обращаясь ко мив. — Оттого, что за волосенки пощинать мальчишку не нозволили.

- Еще соври! — пробормоталъ Овцебыкъ.

— Ну, а какъ же было?

- Такъ было, что иначе нельзя было.

Овцебыкъ остановился передо мною и, подумавъ съ минутку, сказалъ:

— Вовсе особое дъло было!

- Садитесь, Василій Петровичъ, сказалъ я, подвигаясь на кровати.
- НЪтъ, не наде. Вовсе особое дѣло, началъ онъ снова. Мальчишкъ иятнадцатый годъ, а между тъмъ ужъ онъ совсъмъ дворянинъ, то-есть безстыжая шельма.

— Воть у насъ какъ! — пошутилъ Челновскій.

- Да, —продолжать Овцебыкъ. Поваръ у нихъ былъ Егорь, молодой парень. Женился онь, взяль дьячковскую дочь изъ нашего духовеннаго нищенства. Барчонокъ ужъ всему быль обучень и давай къ неи лязгаться. А бабёнка молодая, не изъ таковскихъ; пожаловалась мужу, а мужъбарынь. Та тамь что-то поговорила сыну, а онь онять за свое. Такъ въ другой разъ, въ третій — поваръ опять къ барынь, что жень отбою ньть оть барчука - онять инчего. Взяла меня досада. «Послущанте, говорю ему:—если вы еще разъ защиннете Алёнку, такъ я васъ тресну». Покрасныть оть досады; взыграла благородная кровь, знасте; полетьль къ мамашъ, а и за нимъ. Гляжу: она сидитъ въ креслахъ, и тоже вси красная; а сынъ по-французски ей жалобу на меня расписываеть. Какъ увидьла меня, сейчасъ взяла его за руку и улыбается, чорть знаеть чего. «Полно, говорить,мой другъ. Василью Петровичу, върно, что-нибудь показалось; онъ шутить, и ты докажень ему, что онъ ощибается». А сама, вижу, косится на меня. Малецъ мон пошелъ, а она, вивсто того, чтобы поговорить со мною о сынв, говорить: «Какой вы рыцарь, Василій Петровичь! Ужь не сердечная ли у васъ зазнобушка?» Ну, а я эгихъ вещей теривть не могу, — сказаль Овцебыкъ, энергически махиувъ рукою. — Не могу я этого слушать, -- повториль онь еще разь, возвысивь голосъ, и снова зашагалъ.
 - Ну, вы туть же и оставили этоть домь?

-- Ивть, черезъ полтора мъсяца.

- II жили въ ладу?

- Ну, я ни съ къмъ не говорилъ.
- A за столомъ?
- Я съ конторщикомъ об'йдалъ.
- Какъ съ конторщикомъ?
- Просто сказать на застольной. Да это мив ничего.
 Меня въдь обидъть нельзя.
 - Какъ нельзя?
- А разумћется нельзя... ну, да что объ этомъ толковать... Только сижу я разъ послъ объда подъ окномъ. Танита читаю, а въ людской, слышу, кто-то кричитъ. Что кричитъ—не разберу, а голосъ Алёнкинъ. Барчукъ, думаю, върно забавляется. Всталъ, подхожу къ людской. Слышу, Алёнка плачетъ и сквозъ слезы кричитъ: «стыдно вамъ», «Бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Алёнка стоитъ на чердакъ надъ приставной лъстницей, а малецъ мой подъ лъстницей, такъ что бабъ никакъ нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, какъ опъ ходятъ... просто. А опъ еще ее поддразниваетъ: «лъзь, говоритъ,—а то отставлю лъстницу». Зло меня такое взяло, что я вошелъ въ сънн да и далъ ему затрещину.

— Такую, что у него изъ уха п изъ носа кровь хлы-

нула, - засмѣявинсь, подсказаль Челновскій.

- Какая тамъ на его долю выросла.
- Что же вамъ мать?
- Да я ее носл'в не гляд'ять. Я изъ людской прямо въ Курскъ пошелъ.
 - Сколько же это верстъ?

— Сто семьдесять; да хоть бы и тысяча-семьсоть, такъ

это все равно.

Если бы вы видѣли въ эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему, въ самомъ дѣлѣ, все равно, сколько верстъ ни пройти и кому ни дать затрещину, если, ио его соображеніямъ, затрещину эту дать слѣдуетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Начался знойный йонь. Василій Петровичь являлся къ намъ аккуратно всякій день часовь въ 12, снималъ свой коленкоровый галстукъ, подтяжки и, сказавъ обоимъ намъ «здравствуйте», усаживался за своихъ классиковъ. Такъ проходило время до объда; послъ же объда онъ закуривалъ трубочку и, ставъ у окна, обыкновенно спрацивалъ: «что жъ,

кондицій?» Прошель м'ясяць съ того дия, какъ Овцебык<mark>ъ</mark> каждый день повторяль этоть вопросъ Челновскому, и ц'явж стот и снидо скашись спо спод вінка суподм пик самый неутвшительный отвътъ. Мъста даже и въ виду не было. Василія Петровича, повидимому, это, однако, нисколько ие обходило. Онъ кушалъ съ прекраснымъ аппетитомъ и былъ постоянно въ своемъ неизмънномъ настроеніи духа. Только разъ или два я видълъ его раздраженные обыкновеннаго: но и эта раздражительность не имъла никакого соотношенія съ положеніемъ д'яль Василія Петровича. Она происходила отъ двухъ совершенно стороннихъ обстоятельствъ. Разъ онъ встрътился съ бабой, которая рыдала впричетъ, и спросиль ее своимь басомь: «чего, дура, ревень?» Баба сначала исиугалась, а потомъ разсказала, что у нея измовили сына и завтра ведутъ его въ рекрутскій пріемъ. Василій Петровичъ всиомниль, что ділопроизводитель въ рекрутскомъ присутствін быль его товарищемъ но семинарін, сходиль къ нему рано утромъ и возвратился необыкновенно разстроеннымъ. Ходатайство его оказалось иссостоятельнымъ. Въ другой разъ партію малольтнихъ еврейскихъ рекрутиковъ перегоняли черезъ городъ. Въ ту пору наборы были частые. Василій Петровичъ, закусивъ верхнюю губу и подперши фертомъ руки, стоялъ подъ окномъ и внимательно смотрель на обозь провозимых рекруть. Обывательскія подводы медленно тянулись; тельги, прыгая по губерн-ской мостовой изъ стороны въ сторону, качали головки дітей, одітыхъ въ сірыя шинели изъ солдатскаго сукна. Большія стрыя шанки надвигались имъ на глаза и придавали ужасно печальный видъ красивымъ личикамъ и умнымъ глазенкамъ, съ тоскою и вивств съ дътскимъ любопытствомъ смотрквшимъ на новый городъ и на толны мъщанскихъ мальчишекъ, бъжавшихъ вирипрыжку за тельгами. Сзади шли двѣ кухарки.

— Тоже, чай. матери гдв-нибудь есть?—сказала, поров-нявшись съ нашимъ окномъ, одна рослая, рябая кухарка. — Гляди, можетъ, и есть,—отвъчала другая, запустивъ локти подъ рукава и скребя ногтями свои руки. — И въдь имъ, небось, хоть и жиденята, а жалко ихъ?

— Да въдь что жъ, матка, дълать! — Разумъется, а только по материнству-то?

— Да, по материнству, - конечно... своя утроба... А нельзя...

— Конечно.

— Дуры!-крикнуль имъ Василій Петровичь.

Женщины остановились, взглянули на него съ удивленіемъ, объ вразъ сказали: «чего, гладкій несъ, ласшься», и пошли дальше.

Мнѣ захотѣлось пойти посмотрѣть, какъ будутъ ссаживать этихъ несчастныхъ дьтей у гарнизонпой казармы.

 Пойдемте, Василій Петровичь, къ казармамъ,—позваль я Богословскаго.

— Зачѣчъ?

— Посмотримъ, что тамъ съ ними будуть делать.

Василій Петровичь ничего не отвічаль; но когда я взялся за шляну, онъ тоже всталь и пошель вмёсть со мною. Гарипзонныя казармы, куда привезли переходящую партію еврейскихъ рекрутиковъ, были отъ насъ довольно далеко. Когда мы подошли, тельги уже были пусты и дъти стояли правильной шеренгой въ два ряда. Партіонный офицеръ съ унтеръ-офицеромъ дълаль имъ повърку. Вокругъ шеренги толиплись зрители. Около одной тельги тоже стояло нъсколько дамъ и священникъ съ бронзовымъ крестомъ на владимірской ленть. Мы подошли къ этой тельгь. На ней сидъль одинь больной мальчикъ лёть девяти и жадно ать пирогъ съ творогомъ; другой лежалъ, укрывшись шинелью, и не обращаль ни на что вниманія; по его раскраснъвшемуся лицу и по глазамъ, горъвшимъ болъзнениымъ свътомъ. можно было полагать, что у него лихорадка, а можетъ-быть тифъ.

- Ты боленъ?--спросила одна дама мальчика, глотав-

шаго куски непережованнаго пирога.

- A?

- Боленъ ты?

Мальчикъ замоталъ головон.

— Ты не боленъ?-опять спросила дама.

Мальчикъ снова замоталъ головой.

— Онъ не конпранъ-на—но понимаетъ,—замътилъ священникъ и сейчасъ же самъ спросилъ:—Ты ужъ крещеный?

Ребенокъ задумался, какъ бы приноминая что-то знакомое въ сдѣланномъ ему вопросѣ, и, опять махнувъ головкой, сказалъ:—«Не, не».

— Какой хорошенькій!-проговорила дама, взявъ ребенка

за подбородокъ и приподнявъ кверху его миловидное личико съ черными глазками.

- Гдв твоя мать?-неожиданно спросыть Овцебыкъ, дер-

нувъ слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василія Петровича, потомъ на окружающихъ, потомъ на ундера и опять на Василія Петровича.

— Мать, мать гдь?-повториль Овцебыкъ.

- Мама?

- Да, мама, мама?

- Мама...-ребенокъ махнулъ рукой вдаль.

- Дома?

Рекрутъ подумалъ и кивнулъ головою въ знакъ согласія.

 Памятуетъ еще, —вставилъ священникъ и спросилъ: — Брудеры есть?

Дитя едилало едва замитный отрицательный знакъ. .

- Врешь, врешь, одниъ не беруть въ рекрутъ. Врать нихтъ гутъ, нейнъ, —продолжатъ священникъ, думая употребленіемъ именительныхъ падежей придать болфе понятности своему разговору.
 - -- Я бродигест, -проговориять мальчикъ.

90-0TV --

- - Бродягесъ, яснъе высказалъ ребенокъ.
- А, бродягесъ! Это по-русски значить онь бродяга, за бродяжество отданъ! читаль и этоть законъ о нихъ, о еврецскихъ младенцахъ, читалъ... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: осъдлый сиди дома, а бродяжив все равно бродить, и онъ приметь святое крещеніе, и исправится, и въ люди выйдетъ, —говорилъ священникъ; а тъмъ временемъ перекличка окончилась, и ундеръ, взявъ подъ уздцы лошадь, дернулъ телъгу съ больными къ казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползян малольтніе рекруты, тянувшіе за собою сумочки и полы неуклюжихъ шинелей. Я сталь искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и къ ночи, и на другой, и на третій день къ объду. Послали мальчика на квартиру Василія Петровича, гдѣ опъ жилъ съ семинаристами, и тамъ его не бывало. Маленькіе семинаристики, съ которыми жилъ Овцебыкъ, давно привыкли не видать Василія Петровича по цълымъ недълямъ и не обращали инкакого

вниманія на его исчезновеніе. Челновскій тоже нимало не безпокоплся.

— Придетъ, говорилъ онъ, — бродитъ гдѣ-нибудь или спитъ во ржи, и ничего больше.

Пужно знать, что Василій Петровичь, по собственному его выраженію, очень любиль «логовища», и логовищь этихъ у него было довольно много. Кровать съ голыми досками, стоявшая на его квартиръ, никогда долго не покоила его тъла. Только изръдка, заходя домой, онъ улаживался на исе, дълалъ мальчикамъ неожиданный экзаменъ съ накимънибудь курьезнымъ вопросомъ въ концф каждаго испытанія, и затымь провать эта опять стояла пустою. У насъ онъ сналь редко, и обыкновенно или на крыльце, или, если съ вечера заходиль горячій разговорь, не доконченный къ ночи, то Овцебыкъ ложился на полу между нашими кроватями, не позволям себъ подостлать ничего, кромъ ръденькаго половика. Утромъ рано онъ уходилъ или въ поле, или на кладбише. На кладбищь онъ бываль всякій день. Придеть, бывало, уляжется на зеленой могиль, разложить передъ собою книгу какого-инбудь латинскаго писателя и читаеть, а то свернетъ книгу, подложить ее подъ голову да смотритъ на небо.

- -- Вы-жилецъ могилъ, Василій Петровичъ! говорили ему знакомыя Челновскаго барышци.
 - Глупости говорите, отвѣчалъ Василій Истровичъ.
- Вы—упырь, говориль ему бльдный увадный учитель, прослывший за литератора съ тъхъ поръ, какъ въ губерискихъ въдомостяхъ напечатали его ученую статью.
- Глупости сочиняете,—отвѣчаль Овцебыкъ и сму, и онять отправлялся къ своимъ покойникамъ.

Чудачества Василія Нетровича пріучили весь небольшой кружокъ его знакомыхъ не удивляться ни одной его выходків, а потому никто и не удивился его быстрому и пеожиданному искановенію. Но опъ долженъ же быль возвратиться. Никто и не сомиівался, что опъ возвратится: вопрось быль только въ томъ, куда онъ скрылся? гді онъ скитается? что его такъ раздражало и чімъ онъ врачуеть себя отъ этихъ раздраженій?—это были вопросы, разрішеніе которыхъ представляло для моей скуки довольно большой интересъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и природа наша жила полною своею жизнью. Было новолунье. Послъ жаркаго дня наступила свътлая, роскопіная почь. Въ такія ночи курскіе жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловы свищуть имъ напролеть цалыя почи, а они напролеть палыя ночи ихъ слушають въ своемъ большомъ и густомъ городскомъ саду. Всь, бывало, ходять тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учители жарко спорять «о чувствахъ высокаго и прекраснаго», или о «дилетантизмы въ наукы». Жарки бывали эти громкіе споры. Даже въ самыя отдаленныя куртины стараго сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!» «позвольте!», «а priori разсуждать нельзя», «идите нидуктивнымъ способомъ» и т. и. Тогда у насъ еще сповили о подобныхъ предметахъ. Теперь такихъ споровъ не слышно. «Что ни время, то и итицы, что ни птины, то и ивсни». Тенерешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, съ которымъ я жилъ въ Курскъ въ эпоху моего разсказа. Вопросы, занимающие насъ теперь, тогда сще не поднимались, и во множества головь свободно и властно господствоваль романтизмъ, господствоваль, не предчувствуя приближенія повыхъ направленій, которыя заявять свои права на русскаго человька и которыя русскій человъкъ, извъстнаго развитія, приметъ, какъ онъ принимаетъ все, то-есть не совсвиъ искренно, но горячо, съ аффектацією и съ пересоломъ. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствахъ высокаго и прекраснаго, а женщины любили идеальныхъ героевъ, слушали соловьевъ, свиставшихъ въ густыхъ кустахъ цветущей спрени, и всласть заслушивались турухтановъ, таскавшихъ ихъ подъ руку по темнымъ аллеямъ и разрѣшавшихъ съ ними мудрыя задачи святой любви.

Мы пробыли съ Челновскимъ въ саду до 12 часовъ, много хорошаго слышали и о высокомъ, и о святой любви, и съ удовольствіемъ улеглись въ наши постели. Огонь у насъ былъ уже погашенъ; но мы еще не спали и лежа сообщали другъ другу свои вечернія впечатлънія. Ночь была во всемъ своемъ величій, и соловей подъ самымъ окномъ громко щелкалъ и заливался своею страстною пъснью.

Мы уже собирались пожелать другь другу покойной ночи, какъ вдругь изъ-за забора, отдълявшаго отъ улицы садикъ, въ который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнулъ: «ребята!»

— Это-Овцебыкъ, сказаль Челновскій, быстро поднявъ

голову съ подушки,

Мий показалось, что онъ ошибся.

— Нать, это Овцебыкъ, — настанваль Челновскій и, вставъ съ постели, высунулся въ окно.

Все было тихо.

- Ребята! опять крикнуль подъ заборомь тотъ же самый голосъ.
 - Овцебыкъ! окликнулъ Челновскій.

- Или же.
- Ворота заперты.

- Поступись.

 Зачѣмъ будить. Я только хотѣлъ узнать, не спите ли? За заборомъ послышалось н всколько тяжелыхъ движеній, и вследь затемь Василій Петровичь, какъ-куль съ землею, упаль въ садикъ.

— Экой чортушко! - сказаль Челновскій, смёлсь и смотря, какъ Василій Петровичь поднимался съ земли и пробирался къ окну сквозь густые кусты акаціи и сирени.
— Здравствуйте! — весело проговориль Овцебыкъ, пока-

завшись въ окив.

Челновскій отставиль оть окна столикь съ туалетными принадлежностями, и Василій Петровичь перенесь сначала одну изъ своихъ ногъ, потомъ сълъ верхомъ на подоконникъ, потомъ перенесъ другую ногу и, наконецъ, совсвыъ явился въ комнатъ.

- Ухъ! уморился,- проговорилъ онъ, снялъ свое пальто и подаль намъ руки.

- Сколько версть отмахаль?-спросиль его Челновскій, ложась снова въ свою постель.

- Въ Погодовъ былъ.

— У дворника?

- У дворника. - Бсть будешь?

- Если есть что, такъ буду.

- Побуди мальчика!

- Hy, ero, conararo!
- Отчего?

- Пусть спитъ.

- Да что ты юродствуень!-Челновскій громко крикпулъ: — Монсей!
 - Не буди, говорю тебь; пусть спить.
 - Ну, а я не найду, чемъ тебя кормить.

— И не надо.

- Да вѣдь ты ѣсть хочешь?
- Пе надо, говорю: я вотъ что, братцы...

- Что, братент?

— Я къ вамъ пришелъ проститься.

Василін Петровичь сель на кровать къ Челновскому и взяль его дружески за кольно.

- - Какъ проститься?

- Не знаещь какъ прошаются?
- Куда жъ это ты собрался?

— Пойду, братцы, далеко.

Челновскій всталь и зажегь свічу. Василій Петровичь сидъль и на лиць его выражалось спокоиствіе и даже счастье.

- Дай-ка мив на тебя посмотрыть, сказаль Челновскій.
- Посмотри, посмотри, отвѣчалъ Овцебыкъ, улыбаясь своей нескладной улыбкой.

— Что же твой дворникъ делаеть?

- Сто и овест продаетъ.
- Потолковали съ нимъ про неправды безсудныя, про сиды безманыя?

— Потолковали.

- Что жъ, это онъ, что ли, тебъ какой походъ насовътовалъ?
 - Нать. я самъ надумаль.
 - Въ какія жъ ты направишься палестины?
 - -- Въ пермскія. — Въ пермскія?
 - Да, чего удивился! Что ты забыль тамь?

Василій Петровичь всталь, прошедши по комнать, закрутиль свои виски и проговориль про себя: «это ужъ мое 15.10».

- Эй, Вася, дуршиь ты, -сказаль Челновскій.

Овцебыкъ молчалъ п мы молчали.

Это было тяжелое молчаніе. И я, и Челновскій поняли, что передъ нами стонть агитаторъ,—агитаторъ искренній и безстрашный. И онъ понялъ, что его понимають, и вдругь всирикнулъ:

- Что жъ мнъ дълать! Сердце мое не терпитъ этой цивилизаціи, этой нобилизаціи, этой стерворизаціи!..—И онъ кръпко ударилъ себя кулакомъ въ грудь, и тяжело опустился на кресло.
 - Да что жъ ты подълаеть?
- О. когда бъ и зналъ, что съ этпиъ можно сделать!
 О. когда бы это знать!.. Я на-ощупь иду.

Всѣ замолчали.

— Можно курить?—спросиль Богословскій послѣ продолжительной паузы.

— Кури, пожалуйста.

— Я здъсь съ вами на полу прилягу,—это будеть моя вечеря.

— II отлично.

— Поговоримъ, —представь... молчу-молчу, и вдругъ мий приходитъ охота говорить.

— Ты чамъ-нибудь разстроился.

- Ребятенокъ мий жалко, сказалъ онъ и сплюнулъ черезъ губу.
 - Какихъ?
 - Ну, моихъ, кутейниковъ.
 - Чего жъ тебъ ихъ жаль?
 - Изгадятся они безъ меня.
 - Ты самъ ихъ гадишь.
 - Ври.
- Конечно: ихъ учатъ на одно, а ты ихъ переучиваещь на другое.
 - Ну такъ что жъ?
 - Ничего и не будеть.

Вышла пауза.

- А я воть что скажу тебѣ, —проговориль Челновскій: женился бы ты, взяль бы къ себѣ старуху-мать, да быль бы добрымъ попомъ—отличное бы дѣло сдѣлаль.
 - --- Ты мив этого не говори! Не говори ты мив этого!
 - Богь съ тобой, отвъчаль Челновскій, махнувъ рукой.

Василій Петровичь опять заходиль по комнать и, остаповясь передъ окномъ, продекламироваль:

Стой одинъ передъ грозою, Не призывай из себъ жены.

- И стихи выучилъ, сказалъ Челновскій, улыбаясь и показывая мив на Василья Цетровича.
 - Умные только, отвичаль тоть, не отходи оть окиа.
- --- Такихъ умпыхъ стиховъ не мало есть, Василій Петровичь, — сказаль я.
 - -- Все-дребедень.
 - А женщины—все дрянь?
 - Дрянь.
 - А Лидочка?
- Что же Лидочка?—спросплъ Василій Петровичъ, когда ему напомнили пмя очень милой и необыкновенно песчастной дъвушки—единственнаго женскаго существа въ городѣ, которое оказывало Василью Петровичу всяческое вниманіе.
 - Вамъ не будеть о ней скучно?
- Что это вы говорите?—спросиль Овцебыкь, расширивь свои глаза и пристально уставивь ихь на меня.
 - Такъ говорю. Она—хорошая дівуніка.
 - Ну. такъ что жъ, что хорошая?

Василій Петровичь помодчадь, выколотиль о подоконникь свою трубку и задумался.

Паршивые! — проговорилъ онъ, закуривая вторую

трубку.

Челновскій и я разсмівлянсь.

- Чего васъ разбираетъ? спросилъ Василій Петровичъ.
- Это дамы, что ли, у тебя наришвыя?
- -- Дамы! Не дамы, а жиды.
- Къ чему жъ ты тутъ жидовъ всиомнилъ?
- А чортъ ихъ знаетъ, чего они помнятся: у меня мать. да и у нихъ у каждаго есть по матери, и всй знаютъ,—отозвался Василій Петровичъ и, задувъ свъчку, съ трубкою възубахъ, повалился на половой коврикъ.
 - Это ты еще не забыль?
 - Я, братъ, памятливъ.

Василін Петровичь тяжело вздохнуль.

- Подохнуть, сонатые, дорогой, сказаль онь, помолчавь.
- Пожалуп.
- II лучше.

- Экое у него и состраданіе-то мудреное,—сказалъ Челновскій.
- НЪтъ, это у васъ все мудреное. У меня, братъ, все простое, мужицкое. Я вашихъ чохъ-мохъ не разумъю. У васъ все такое въ головъ, чтобъ и овцы были цълы, и волки ситы, а этого нельзя. Этакъ не бываетъ.
 - Какъ же по-твоему будетъ хорошо?
 А хорошо будетъ, какъ Богъ дастъ
 - Богъ самъ ничего въ людскихъ дълахъ не дълаетъ.

— Понятно, что все люди будуть двлать.

- Когда они стануть людьми, сказаль Челновскій.
- Эхъ, вы, умники! Посмотришь на васъ, будто и въ самомъ дѣлѣ вы что знаете, а ничего вы не знаете, —энергически воскликнулъ Василій Петровичъ. Дальше своего дворянскаго носа вамъ ничего не видать, да и не увидать. Вы бы въ моей шкурѣ пожили съ людьми, да съ мое походили, такъ и узнали бы, что нечего июии-то нюнить. Ишь ты, чортъ этакой! и у него тоже дворянскія привычки, переломилъ неожиданно Овцебыкъ и всталъ.
 - У кого это дворянскія привычки?
 У собаки, у Боксы. У кого же еще?
- Какія жъ это у ней дворянскія привычки?—спросиль Челновскій.
 - Дверей не затворяетъ.

Мы туть только зам'ьтили, что черезъ комнату дыйствительно тянуль сквозной вытеръ.

Василій Петровичь всталь, затвориль дверь изъ свией

и заперъ ее на крючокъ.

 Спасною, сказаль ему Челновскій, когда онъ возвратился и снова растянулся на коврикъ.

Василій Петровичь ничего не отвічаль, набиль еще трубочку и, закуривь ее, неожиданно спросиль:

- Что въ книжкахъ брешутъ?
- -- Въ которыхъ?
- --- Ну, въ вашихъ журналахъ?
- О разныхъ вещахъ пишутъ, всего не разскажещь.
- О прогресст все, небось?
- II о прогрессъ.
- -- А о народћ?
- -- II о пародъ.

О. горе симъ мытарямъ и фариссимъ!—вздохнувъ, произнесъ Овцебыкъ.—Болты болтаютъ, а сами инчего не

— Отчего ты, Василій Петровичь, думаень, что ужь, кром'в тебя, никто ничего не знаеть о народ'в? В'вдь это, брать, самолюбіе въ теб'в говорить.

- Нътъ, не самолюбіе. А вижу я. что подло всъ занимаются этимъ діломъ. Все на язычничестві выдзжають, а на діло-шикого. Нізть, ты діло ділай, а не бреши. А то любовь-то за объдомъ разгорается. Повъсти пишуть, разсказы!—прибавиль онь, помолчавь, —эхь, язычники! фарисен проклятые! А сами, небось, не тронутся. Толокпомъ-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются, прибавиль онь, помолчавь немного.
 - Отчего же это хорошо?
- Да все оттого жъ, говорю,—что толокномъ подавятся, доведется ихъ въ загорбокъ бить, чтобы прокашлянули, а они заголосять: «бьють насъ!» Такимъ разви повирять! А ты, --продолжалъ онъ, съвъ на своей постели:--надънь эту же замашную рубашку, да чтобы она тебь бока не мусолила; вшь тюрю, да не морицися, да не ленись свинью во дворъ загнать: вотъ тогда тебъ и повърять. Душу свою клади, да такъ, чтобъ видъли, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй. Людіє мой, людіе мон! что бы я ни сотворилъ вамъ?.. Людіе мой, людіе мон! что бы я вамъ ни отлаль?—Василій Петровичь задумался, потомъ поднялся во весь свой ростъ и, протянувъ руки ко мив и къ Челновскому, спазаль: -- «Ребята! смутные дии настають, смутные. Часу медлить нельзя, а то придуть лжепророки, и я голосъ ихъ слышу проклятый и пенавистный. Во имя народа будуть уловлять и губить васъ. Не смущайтесь сими зонущими, и если силы воловьей въ хребтахъ своихъ не чувствуете, ярма на себя не всиладывайте. Не въ числъ людей дъло. Пятью пальцами блохи не изловишь, а однимъ можно. Я отъ васъ, какъ и отъ другихъ, большого проку не жду. Это-не ваша вина, вы жидки на густое дело. Но, прошу васъ, заповъдь одну мою братскую соблюдите: не брешите вы никогда на вътеръ! Эй, право, вредъ въ этомъ великій есть! Эй, вредъ! Ногь не подставляйте, и будеть съ васъ, а намъ, вотъ такимъ Овцебыкамъ, — сказалъ онъ, ударивъ себя въ грудь, — намъ этого мало. На насъ кара небесная

падеть, коли этимъ удовольствуемся. «Мы свои своимъ, и свои насъ познаютъ».

Долго и много говорилъ Василій Петровичъ. Онъ инкогда такъ много не говорилъ и такъ ясно не высказывался. На необ уже брезжилась зорька и въ комнатъ замътно съргло, а Василій Петровичъ все еще не умолкъ. Коренастая фигура его дълала энергическія движенія, и сквозь проръхи старой ситцевой рубанки было замътно, какъ высоко поднималась его мохнатая грудь.

Мы засвули въ четыре часа. а проснулись въ девять. Овцебыка уже не было, и съ тѣхъ поръ я не видалъ сго ровио три года. Чудакъ въ то же утро ушелъ въ страны, рекомендованныя ему его пріятелемъ, содержателемъ по-

стоялаго двора въ Погодовъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ нашей губерніи есть довольно много монастырей, которые построены въ лъсахъ и называются «пустынями». Моя бабушка была очень религіозная старушка. Женщина стараго въка, она питала неодолимую страсть къ ичтенествіямъ по этимъ пустынямъ. Она на память знала не только исторію каждаго изъ этихъ уединенныхъ монастырей, но знала всв монастырскія легенды, исторію иконъ, чудотворенія, какія тамъ сказывали, знала монастырскія средства, ризницу и все прочее. Это быль встхій, но живой указатель къ святынямъ нашего края. Въ монастыряхъ тоже все знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не дълала пикакихъ очень ценныхъ приношеній кром'в воздуховъ, вышиваньемъ которыхъ занималась цёлую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путеществовать. Въ гостиницахъ П -- ской и Л -- ской пустыни къ Петрову дню и Успенію всегда оставляли для нея два комнаты. Мели ихъ, чистили и никому не отдавали даже нодъ самый день праздника.

— Александра Васильевна прівдеть, — говориль всвив

отецъ-казначей:--не могу отдать ея комнать.

II действительно, бабушка моя прівзжала.

Разъ какъ-то она совсимъ запоздала, а народу найхало на праздникъ въ пустынь множество. Ночью, передъ заутреней, прібхалъ въ Л—скую пустынь какой-то генералъ и требовалъ себи лучшаго номера въ гостиницъ. Отецъ-казна-

чей быль вь затрудинтельномъ положении. Первый разъ моя бабушка пропускала престольный праздникъ пустыннаго храма. «Умерла, видно, старуха», подумаль онь, но, взгляпувъ на свои луковицеобразные часы и увидавъ, что до заутрени еще остается два часа, онъ все-таки не отдалъ ея компать генералу и спокойно отправился въ келью читать свою «полунощницу». Прогудьлъ три раза большой монастырскій колоколь; въ церкви замелькала горящая свъчечка, съ которою служка сустился передъ иконостасомъ, зажигая ставники. Народъ, позъвывая и крестя рты, толпами повалиль въ церковь, и моя милая старушка, въ чистомъ дикенькомъ платыще и въ беломъ, какъ сифгъ, чепце московскаго фасона 12-го года, входила уже въ съверныя двери, набожно престясь и шенча: «За утро услыши гласъ мой, Царю мой и Боже мой!» Когда јеродјаконъ возгласилъ свое торжественное «возстаните!», бабушка уже была въ темномъ уголкъ и клала земные поклоны за души усоншихъ. Отецъ-казначей, подпуская богомольцевъ ко кресту. после ранией объдни, нимало не удивился, увидевъ старуху, и, подавъ ей изъ-подъ рясы просфору, очень спокойно сказалъ: «Здравствуй, мать Александра!» Бабунку въ пустыняхъ только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, какъ «мать Александра». Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжою и не корчила изъ себя монахини Несмотря на свои пятьдесять дёть, она всегда была одёта чисто, какъ колинкъ. Свъженькое дикое или зелевое ситцевое платыще, высокій тюлевый ченчикь, съ дикими лентами, и ридикиль съ вышитой собачкой, все было свежо и наивио-кокетливо у доброй старушки. Вздила она въ пустыни въ деревенской безрессорной кибитив на пара старыхъ рыжихъ кобылокъ очень хорошей породы. Одну изъ нихъ (мать) звали «Щеголихой», а другую (дочь)-«Пежданкою». Последняя получила свое название оттого, что явилась на свъть совершенио прожиданно. Объ эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, ръзвы и добро-нравны, и путешествіе на нихъ, съ елейной старушкой и съ ея добродушитишить старичкомъ кучеромъ Ильею Васильевичемъ, составляло для меня во всъ годы моего дътства напвысочайшее наслаждение.

Я быль адъютантомь старушин съ самаго ранняго воз-

раста. Еще шести лътъ я съ ней отправился, въ первый разъ, въ Л—скую пустынь на рыжихъ ея кобылкахъ, и съ тъхъ поръ сопровождалъ ее каждый разъ, пока меня десяти лътъ отвезли въ губернскую гимназію. Повздка по мопастырямъ имъла для меня очень много привлекательнаго. Старунна умела необыкновенно опоэтизировывать свои путешествія. Едемъ, бывало, рысцой; кругомъ такъ хорошо: воздухъ ароматный; галки прячутся въ зеленяхъ; люди встрачаются, кланяются намъ, и мы имъ кланяемся. По ласу, бывало, идемъ прикомъ; бабущка миф разсказываетъ о двинадцатомъ годи, о можайскихъ дворянахъ, о своемъ побъги изъ Москвы, о томъ, какъ гордо подходили французы, и о томъ, какъ потомъ безжалостно морозили и били французовъ. А тутъ постоялый дворъ, знакомые дворники. бабы съ толстыми брюхами и съ фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которымы можно бъ-гать, —все это плъняло меня и имъло для меня обаятельную прелесть. Бабушка примется въ горений за свой туалеть, а я отправляюсь подъ прохладный твистый навкет къ Ильѣ Васильевичу, ложусь возлівнего на вязків сівна и слу-шаю разсказъ о томъ, какъ Илья возиль въ Орлѣ диператора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело, какъ много было экипажей и какимъ опасностямъ подвергался экинажъ императора, когда при съвздв съ горы къ Ордику у хлоповскаго кучера лоинули вожжи и касътутъ одинъ онъ, Илья Васильичъ, своею находчивостью спасъ жизнь императора, собиравшагося уже выпрыгнуть изъ коляски. Өеакійцы не слушали такъ Одиссея, какъ слу-шалъ я кучера Илью Васильевича. Въ самыхъ же пустыняхъ у меня были пріятели. Меня очень любили два старичка: игуменъ II—ской пустыни и отецъ-казначей .Т—ской пустыни. Первый, высокій. блёдный старикъ, съ добрымъ, но строгимъ лицомъ, не пользовался, однако, моею привязанностью; но зато отца-казначея я любиль оть всего моего маленькаго сердца. Это было добродушивашее создание въ подлунномъ мірѣ, о которомъ, мимоходомъ сказать, онъ ничего не вѣдалъ, и въ этомъ-то его невѣдѣніи, какъ мнѣ теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старина къ человъчеству.

Но, кромф этихъ, такъ сказать, аристократическихъ зна-комствъ съ пустыноначальниками, у меня были демокра-

тпческія связи съ пустынными плебенми: я очень любиль послушниковъ—этотъ странный классъ, въ которомъ обыкновенно преобладаютъ двъ страсти: льность и самолюбіе, но иногда встръчается запасъ веселой безпечности и чисторусскаго равнодушія къ самому себъ.

— Какъ вы почувствовали призвание поступить въ монастырь?—спросинь, бывало, кого-нибудь изъ нослушинковъ.

— Нътъ, — отвъчаетъ опъ: — призванія не было, а я такъ поступиль.

— А вы примете монашество?

— Безпремъцно.

Выйти изъ монастыря послушнику кажется безусловно невозможнымъ, хотя онъ и знаетъ, что ему никто въ этомъ преиятствовать не станетъ. Я въ дътствъ очень любилъ этотъ народъ, веселый, шаловливый, отважный и добродушно-лицемфрими. Пока послушникъ послушникомъ или «слимакомъ», на него никто не обращаеть випманія, н нотому пикто и не знаеть его натуры; а съ темъ, какъ послушникъ надъваетъ рясу и клобукъ, онъ ръзко измъняеть и свой характерь, и свои отношенія къ бликнимь. Пока же онъ послушникъ, онъ — существо необыкновенно общежительное. Какіе гомерическіе кулачные бои я помню въ монастырскихъ мльбопекарняхъ. Какія пьени удалыя пълись вполголоса на ствнахъ, когда иять или шесть рослыхъ, красивыхъ послушниковъ медленио прогуливались на нихъ и зорко поглядывали за ръчку, за которой звонкими, взманывающими женскими голосами палась другая ивсия, - ивсия, въ которой звучали крылатые зовы: «киньтеся, бросьтеся, во зелены ган бросьтеся. И я номню, какъ, бывало, мятутся слимаки, слушая эти пъсни. и, не утериввъ, бросаются въ зеленые ган. О! Я все это очень хорошо помию. Не забыть я ни одного урока, ин въ паніи кантать, сочиненных в на самыя оригинальныя темы, ни въ гимнастикъ, для упражнения въ которой, впрочемъ, высокія монастырскія стъны были не совстмъ удобны, ни въ умвній молчать и смітться, сохраняя на лиці серьезное выраженіе. Болье же всего я люмить рыбную ловлю на монастырскомъ озеръ. Мон пріятели-послушники тоже считали праздникомъ повздку на это озеро. Рыбная ловля въ ихъ однообразной жизии была единственнымъ занятіемъ, при которомъ они могли хоть немножко разгуляться и попробовать крипость своихъ молодыхъ мышцъ. И въ самомъ дъль, въ этой рыбной ловль было очень много поэтическаго. Отъ монастыря до озера было восемь или десять верстъ, которыя надо было пройти ившкомъ по очень густому чернольску. Отправлялись на ловлю обыкновенно передъ вечерней. На тельгь, запряженной толстою и очень старою монастырскою лошадью, лежали неводъ, нфсколько ведеръ, бочка для рыбы и багры; но на тельть никто не сидьль. Вожки были взвязаны у телфжной грядки, и если лошадь сбивалась съ дороги, то послушликъ, исправлявшій должность кучера, только подходиль и дергаль ее за вожжу. Но, впрочемъ, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что отъ монастыря до озера по лісу была всего одна дорожка, и то такая колепстая, что коню никогда не приходило охоты вытаскивать колесъ изъ глубовихъ колей. Съ нами для надзора посылали всегда старца Игнатія, глухого и подсліноватаго старичка, принимавшаго когда-то въ своей кельк императора Александра I и въчно забывавшаго, что Александръ I уже не царствуеть. Отецъ Игнатій Іздиль на крошечной тельжкі и самъ правилъ другою толстою лошадью. Я собственно всегда имѣлъ право ѣхать съ отцомъ Игнатіемъ, которому меня особо поручала моя бабушка, и отецъ Игнатій даже позволяль мнв править толстою лошадью, запряженною въ короткія оглобли его тельжки: но я обыкновенно предночиталь идти съ послушниками. А они никогда не шли по дорогв. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, въ лъсъ, сначала запоемъ: «Какъ шелъ по пути молодой монахъ, а навстрычу ему самъ Інсусъ Христосъ», а тамъ ито-нибудь заведеть новую песню, и поемь ихъ одна за другою. Безваботное, милое время! Благословенье тебі, благословенье и вамъ, дающимъ мив эти воспоминанія. Къ ночи только, бывало, дойдемъ мы такъ къ озеру. Тутъ на берегу стояла хатка, въ которой жили два старичка, рясофорные послушники: отецъ Сергій и отецъ Вавила. Оба они были «некнижные», то-есть грамотъ не умъли, и исполняли «сторожевое послушаніе» на монастырскомъ озеръ. Отецъ Сергій быль человькъ необыкновенно искусный въ руко-дъляхъ. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый кресть его работы. Онъ также плелъ съти, кубари, лукошки, корзины и разныя такія вещицы. Была

у иего очень искусно выръзанияя изъ дерева статуэтка какого-то святого; но онъ ее показаль мив всего только одинъ разъ, и то съ тъмъ, чтобы я никому не говорилъ. Отецъ Вавила, напротивъ, пичего не работалъ. Онъ былъ поэтъ. «Любилъ свободу, лънь, покой». Онъ готовъ былъ по приграмия оставаться нади озероми ви созерцательномъ положенін и наблюдать, какъ летають дикія утки, какъ ходитъ осанистая цапля, таская повременамъ изъ воды лягушекъ, выпросившихъ ее себъ въ цари у Зевеса. Тотчасъ передъ хаткою двухъ «пекнижныхъ» иноковъ начиналась пирокая песчапая полоса, а за нею озеро. Въ хатъ было очень чисто: стояли двъ иконы на полочкъ п двѣ тяжелыя деревянных кровати, выкрашенныя зеленою масляною краскою, столъ, покрытый суровой ширинкой, и два стула, а по сторонамъ обыкновенныя лавки, какъ въ крестьянской пзбѣ. Въ углу былъ маленькій шкафикъ съ чайнымъ приборомъ, а подъ шкафикомъ на особой скамесчкв стояль самоварь, вычищенный какъ наровикъ на коечкъ стоялъ самоваръ, вычищенный какъ паровикъ на ко-ролевской яхтв. Все было очень чисто и уютно. Въ кельъ «некинжныхъ» отцовъ, кромъ ихъ самихъ, не жилъ никто, кромъ желтобураго кота, прозваниаго «Капитаномъ» и за-мъчательнаго только тъмъ, что, нося мужское имя и бу-дучи очень долгое время почитаемъ настоящимъ мужчиною, онъ вдругъ. къ величайшему скандалу, окотился и съ тъхъ поръ не переставалъ размножать свое потомство, какъ кошка..

Изъ всего нашего обоза въ хаткъ съ отцами «некникными» укладывался спать, бывало, только одинъ отецъ
Пгнатій. Я обыкновенно отпрашивался отъ этой чести и
спаль съ послушниками на открытомъ воздухъ у хатки.
Да мы, впрочемъ, почти и не спали. Пока, бывало, разведемъ отонь, вскинятимъ котелокъ воды, засыплемъ жидкую кашицу, броспвъ туда нъсколько сухихъ карасей, нока
поъдимъ все это изъ большой деревянной чашки — ужъ и
полиочь. А тутъ, только ляжемъ, сейчасъ заводится сказка,
и непремъпно самая страшная или многогръшная. Огъ
сказокъ переходили къ былямъ, къ которымъ каждый разсказчикъ, какъ водится, всегда и «небылицъ безъ счета
привиралъ». Такъ и ночь зачастую проходила, прежде чъмъ
кто-инбудь собирался заспуть. Разсказы обыкновенно имъли
предметомъ страиниковъ и разбойниковъ. Особенно много

такихъ разсказовъ зналъ Тимовей Невструевъ, ножилой такихъ разсказовъ зналь тимовен певструевь, пожилов послушникъ, слывшій у насъ за непобідниаго силача и всегда собиравшійся на войну за освобожденіе христіанъ, съ тѣмъ, чтобы всѣхъ ихъ «подъ себя подбить». Онъ исходилъ, кажется, всю Русь, былъ даже въ Палестинѣ, въ Греціи и высмотрѣлъ, что всѣхъ ихъ «подбить можно». Уляжемся, бывало, на веретья, огонекъ еще курптся, толстыя лошади, привязанныя у кръптуга, пофыркивають надъовсомъ, а кто-нибудь ужъ и «заводить исторію». Я теперь перезабыль множество этихъ псторій и помню только одну послѣднюю ночь, которую я, благодаря снисходительности моей бабушки, спаль съ послушниками на берегу П—скаго озера. Тимоеей Невструевъ быль не совсимъ въ духѣ въ этотъ день онъ стоялъ посреди церкви на поклонахъ за то, что перелѣзалъ ночью черезъ ограду въ настоятельскомъ садъ, — и началъ разсказывать Емельянъ Высоцкій, молодой человъкъ, льтъ восемнадцати. Онъ былъ родомъ изъ Курляндін, брошенъ ребенкомъ въ нашей губернін и сдѣлался послушникомъ. Мать его была комедіантка, и онъ о ней инчего больше не зналь; а выросъ онъ у какой-то сердобольной купчихи, пристропвшей его девятильтиимъ мальчикомъ въ монастырь на послушание. Разговоръ начался съ того, что кто-то изъ послушниковъ, послъ одной разсказанной сказки, вздохнулъ глубоко и спросилъ:

 Отчего это, братцы мон. нЪтъ теперь хорошихъ разбойниковъ?

Никто ничего не отвъчаль, и меня начиналь мучить этотъ вопросъ, котораго я давно никакъ не могъ разръщить себъ. Я тогда очень любилъ разбойниковъ и рисовалъ ихъ на своихъ тетрадяхъ въ илащахъ и съ красными перьями въ шляпахъ.

- Есть и теперь разбойники,—отозвался топенькимъ голоскомъ послушникъ изъ курляндцевъ.
- Ну, говори, какіе есть теперь разбойники?—-спросиль Невструевъ и закрылся подъ самое горло своимъ коленкоровымъ халатомъ.
- А вотъ накъ я жилъ еще у Иузанихи,—началъ курляндецъ:—такъ пошли мы одинъ разъ съ матерью Натальею, что изъ Боровска, да съ Аленою, тоже странницею изъ-

подъ Чернигова, на богомолье къ Пиколаю угодинку амченскому *). — Это какая Наталья? Бѣлая-то, высокая? Она, что лп?—

прерваль Певструевъ.

— Она, — отвётиль торонливо разсказчикь и продолжаль далье:—А туть на дорогь есть село Отрада. Двадцать нять версть оть Орла. Пришли мы въ это село такъ подъ вечеръ. Попросились у мужиковъ ночевать — не пустили; ну, мы ношли на постоялый. На постояломъ по гроту всего берутъ, да тъснота была страшная! Все — трепачи. Человъкъ, можетъ, съ сорокъ. Питра у нихъ тутъ заина, сквернословіе такое, что уходи да и только. Утромъ, какъ возбудила меня мать Наталья, трепачен ужь не было. Только трое осталось, и то увязывали свои сумочки къ трёпламъ. Увязали и мы свои сумочки, заплатили три гроша за ночлегь и тоже пошли. Вышли изъ деревни, смотримъ — и тъ три трепача за нами. Ну, за нами и за нами. Ничего намъ эго невдомекъ. Только мать Пагалья этакъ проговорила: «Что, дискать, за диво! Вчера, говорить, — эти самые тре-пачи говорили, ужинавши, что въ Орелъ идуть, а нынче, гляди, идуть за нами къ Амченску». Идемъ дальше — трепади, пдугь за нали къ Амченску». пдемъ дальше — тре-пачи за нами все издали. А тутъ лѣсокъ этакой на дорогѣ вышелъ. Какъ стали мы подходить къ этому лѣсу, трепачи насъ стали догонять. Мы скорѣй, и они скорѣй. «Чего, говорять, — оѣжите! не убѣжите вѣдь», да вдвоемъ хвать мать Иаталью за руки. Та какъ вскрикнетъ не своимъ голосомъ, а мы съ матерью Аленой ударились оѣжать. Мы бъжнит, а они встъдъ намъ грохочутъ: «Держи ихъ, держи!» II они оругъ, и мать Наталья кричитъ. «Върно ее заръзали», думаемъ, да сами еще пуще. Тетка Алена такъ и ушла изъ глазъ, а у меня ноги подкосились. Вижу, ифтъ ужъ моей моченьки, взялъ да и упаль подъ кусть. «Что. думаю, ужъ определено Богомъ, то и будетъ». Лежу и чуть духъ перевожу. Жду, вотъ сейчасъ наскочать! анъ, никого нътъ. Только съ матерью Натальей слышно все еще борются. Баба здоровая, не могуть ее прикончить. Въ явсу-то тишь, все по зорькв мнв слышно. Нвть-нвть, да и опять вскрикнеть мать Наталья. Ну, думаю, упокой Господи ея душеньку. А самъ ужъ не знаю, вставать мнъ

^{*)} То-есть «мценскому», отъ г. Мценска, гдъ есть ръзная икона св. Николая.

да бъжать, или ужь туть и ждать какого-нибудь добраго человъка? Ажъ слышу, кто-то будто подходитъ. Лежу я ни живъ, ни мертвъ, да смотрю изъ куста. Что жъ, братцы мон, думаете, вижу? Проходить мать Наталья! Черный илатокъ у нея съ головы свалился; косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана, и сумку въ рукахъ несетъ, а сама такъ и натыкается. Кликну ее, думаю себъ; да и крикнулъ этакъ не во весь голосъ. Она остановилась и глядить на кусты, а я опять ее кликнуль. «Кто это?» говорить. Я выскочиль, да къ ней, а она такъ и ахнула. Озираюсь кругомъ — никого ибтъ ни сзади, ни спереди.-«Гонятся?» спрашиваю ее, — «поб'ьжимъ скоръй!» А она стонть какъ остолбентлая, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцараланы, а ажъ по самые локти, и лобъ тоже исцарананъ, словно какъ ногтями. — «Пойдемъ», говорю ей опять. — «Душили тебя?» спрашиваю. — «Душили», говорить, — «поидемь скорти», и пошли. — «Какъ же ты отъ нихъ отбилась?» — А она нпчего больше не сказала до самой деревни, гдв мать Алену встрЪтили.

— Ну, а тутъ что разсказывала?—спросилъ Невструевъ, хранившій, такъ же, какъ и другіе, во время всего раз-

сказа мертвое молчаніе.

— Да и туть только и говорила, что гонялись все за ней, а она все молитву творила да пескомъ имъ въ глаза бросала.

— II ничего у нел не взяли?-спросиль кто-то.

- Ничего. Башмакъ только съ ноги да ладанку съ шен потеряла. Все они у нея денегъ за пазухой, сказывала, некали.
- Ну, да! Это какіе разбойники! имъ все и діло за назухой только, растолковаль Невструевь и вслідь затімь началь разсказывать про лучшихь разбойниковь, которые напугали его вь обоянскомь убзді.—«Воть это, говорить, были настоящіе русскіе разбойники».

Становилось нестерпимо интересно, и всё обратились въ слухъ о настоящихъ, хорошихъ разбойникахъ.

Невструевъ началъ: «Шелъ, говоритъ,—я изъ Коренной одинъ разъ. По объщанію отъ зубъ ходилъ. Денегъ при мнѣ было рубля съ два, да сумка съ рубахами. Сошелся

съ двумя въ роде... мещанъ на дороге. «Куда, спрапивають, — идешь?» — «Туда-то», говорю. — «И мы. говорять, туда». — «Пойдемъ викстк». — «Ну, пойдемъ». Пошли. Пришли въ одну деревню: ужъ смеркалось. «Давайте, говорю имъ,—ночевать здёсь», а они говорятъ: «Тутъ скверно; пойдемъ еще съ версту: тамъ дворъ будетъ важный; тамъ, говорятъ, — намъ всякое удовольствіе предоставятъ». — «Мнь. говорю, —никакихъ вашихъ удовольствій не надо». — «Пойдемъ, говорятъ,—недалеко въды!» Ну, пошель. Точно, этакъ верстъ черезъ пятокъ, стоить въ лъсу дворъ не маленькій, словно какъ постоялый. Въ двухъ окнахъ свѣтло видивется. Одинъ мъщанинъ постучалъ въ кольцо, собаки въ съняхъ залаяли, а никто не отпираетъ. Опять постучаль; слышимъ, кто-то вышелъ изъ избы и окликнулъ насъ; голосъ, можно распознать, женскій. «Кто такіе будете?» спросила, а мъщанинъ говоритъ: «свои».—«Кто свои?»— «Кто, говоритъ, -- съ борка, кто съ сосенки». Двери отперли. Въ свияхъ темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избу. Въ избъ мужчинъ никого не было, только баба та, что намъ отворяла, да другая, корявая та-кая, сидъла, волну щипала. «Пу, здорово, атаманиха!» гокая, сидъта, вояну щинала. «пу, эдорово, аталанила» го воритъ мѣщанинъ бабѣ. — «Здорово», говоритъ баба и вдругъ стала на меня смотрѣтъ. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годовъ этакъ тридцати будетъ, да бѣлая, шельма, румяная, и глаза повелительные. «Гдѣ, говоритъ, —вы этого молодца взяли?» Это на меня-то, значить. «Опосля, говорять, — разскажемъ, а теперь дай спотыкаловки, да вдаловки, а то зубаревы девки отъ работы отвыкли». Поставили на столъ солонины, хрѣну, водки бутылку и пироговъ. «Ъшь!» говорять мнь мъщане. - «Нътъ, говорю, - и мяса не вмъ».—«Ну, бери пирогъ съ творогомъ». Я взялъ. «Пей, говорятъ,—водку». Выпилъ я рюмку. «Ней другую»; я выпилъ и другую. «Хочешь, говорятъ,—житъ съ нами?»—«Какъ, спрашиваю,—съ вами?»—«А вотъ, какъ видишь: «Какъ, спрашиваю,—съ вами?»—«А воть, какъ видишь: намъ вдвоемъ несподручно, — ходи съ нами и пей, фиь... только атаманьшу слушай... Хочешь?» Илохо, думаю себъ, дъло! Въ недоброе я попалъ мъсто. «Иътъ, говорю, — ребята; мнъ съ вами не житъ». — «Отчего, говорятъ, — не житъ?» А сами все тянутъ водку и ко мнъ пристаютъ: «пей да пей». «Умъешь, спрашиваетъ одинъ, —драться?»— «Не учился», говорю. —«А не учился, такъ вотъ тебъ наука!»

да съ этимъ словомъ какъ свистнетъ меня но уху. Хозяйка ни слова, а баба, знай, волну щипетъ.

- За что же это, говорю, —братцы:
 А за то, говорить, не ходи по лавкѣ, не гляди въ окно, да опять съ этимъ словомъ въ другое ухо ляпъ. Ну, думаю, пропадать все равно, такъ ужъ недаромъ, развернулся самъ, да какъ щелкану его по затылку. Онъ такъ подъ столь и соскочиль. Поднимается изъ-подъ стола, ажъ покряхтываетъ. Отмахнулъ рукой волосы да прямо за бутылку. «Хошь, говорить, — туть твой и конець!» Всѣ, вижу, молчать, и товарищь его молчить. «Нъть, говорю, — не хочу я конца».—«А не хочешь, такъ ней водку».—«И водки пить не стану».—«Пей! Игуменъ не увидитъ, на поклоны не поставитъ».—«Не хочу я водки».—«Ну, а не хочешь, такъ чортъ съ тобой; заплати за то, что выпилъ, и ступай спать».
- «Сколько, говорю, за водку съ меня?» «Всѣ, что есть; у насъ, братъ, дорогая, прозывается «горыкая русская доля», съ водой, да съ слезой, съ перцемъ, да съ собачымъ сердцемъ». Я, было, въ шутку повернуть хотыль, такъ нётъ; только-что я досталь кошелект, а мъщанинъ цанъ его, да и швырнуль за перегородку. «Ну, теперь, говорить, — иди спать, чернець». — «Куда жь, моль, и пойду?» — «А воть теби глухаи тетери проводить. Проведи его! закричаль онь бабъ, что волну щицала. Пошелъ я за бабой въ сћин, изъ сћией на дворъ. Ночь такая хорошая, воть какъ тенерь, на необ стожары горять и по льсу вътерокъ какъ бълка бъгаетъ. Такъ мив жалко стало и жизни-то своей, и монастыря тихаго, а баба отворила мив подклъть, «иди, говорить, бользный», да и ушла. Словно какъ ей жаль меня было. Вошелъ я, щупаю ру-ками-то, что-то нагромощено, а что-не разберешь никакъ. Нащупаль столов. Думаю: все равно пропадать, и пользъ вверхъ. Добрался до матицы да пъ застръхъ, и ну ръшетины раздвигать. Руки всв ободралъ, наконецъ решетинъ пять раздвинуль. Сталь копать селому— звъзды показались. Я еще работать; продраль дыру; выклнуль въ нее сперва свой мылочекъ, а тамъ перекрестился да и самъ кувыркнуль. И бъжаль я, братцы мон. такъ ръзво, какъ и сроду не бъгалъ.

Все, бывало, больше въ этомъ родв разсказывають, но эти разсказы казались тогда такъ интересными, что заслушаенься ихъ и едва-едва сомкнешь глаза передъ зарею. А тутъ отецъ Игнатій ужъ и поталкиваетъ налочкой. «Вставайте! На озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники позывають, бъдные: сонъ ихъ клонить. Возьмутъ неводъ, разуются, снимуть порты и пойдутъ къ лодкамъ. А неуклюжія, черныя, какъ гагары, монастырскія лодки всегда были привязаны къ кольямъ саженяхъ въ пятнадия отъ берега, нотому что съ берега далеко ила песчаная отмель, а чер-ныя лодки сидъли очень глубоко въ водѣ и не могли приставать къ берегу. Меня Невструевъ всю мель до лодокъ переносить, бывало, на рукахъ. Помню хорошо я эти пере-ходы, эти добрыя, беззаботныя лица... Будто вику теперь, какъ послушники, бывало, со сна идутъ въ холодную воду. 11одпрыгивають, посмънваются и, дрожа отъ холода, тащать тяжелый неводъ, нагиппись къ водъ и освъжая сю свои линнущіе оть сна глаза. Помню рідкій парь, поднимавшійся съ воды, колотистыхъ карасей и скользкихъ налимовъ; номню утомительный полдень, когда всь мы, какъ убитые, подню утомительный полдень, когда вст мы, какт уойтые, падали на траву, отказываясь оть янтарной ухи, приготовленной отцомъ Сергіемъ «некнижнымъ». Но еще болже номню недовольное и какт бы злое выраженіе встуг лицъ, когда запрягали толстыхъ лошадей, чтобъ везти въ монастырь наловленныхъ карасей и нашего командира, отца Игнатія, за которымъ слимаки должны шествовать въ свои монастырскія ствиы.

И въ этихъ-то памятныхъ мнё съ дётства мёстахъ пришлось мнё еще разъ совершенно неожиданно встрётиться съ убёжавшимъ изъ Курска Овцебыкомъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Много воды уплыло съ того времени, къ которому относятся мой воспоминанія, можеть быть, весьма мало касаюшіяся суровой доли Овцебыка. Я подрасталь и узнаваль торе жизни; бабушка скопчалась; Илья Васильевичь и Щеголиха съ Пежданкою побывшились; веселые слимаки ходили солидными ипоками; меня поучили въ гимназіи, потомъ отвезли за 600 версть въ университетскій городъ, гдв я выучился пѣть одиу латинскую пѣсню, прочиталь кое-что изъ Интрауса, фейсрбаха, Бюхнера и Бабёфа и во всеоружіи моихъ значій возвратился къ своимъ Ларамъ

и Пенатамъ. Тутъ-то я свелъ описанное мною знакомство съ Василіемъ Петровичемъ. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно нечально, и я снова очутился подъродными липами. Дома и въ это время не произошло ниродными липами. Дома и въ это времи не произопло никакихъ перемѣнъ ни въ нравахъ, ни во взглядахъ, ни въ
направленияхъ. Новости были только естественныя: матушка
постарѣла и пополнѣла, четырнадцатилътняя сестра прямо
съ пансіонерской скамын сошла въ безвременную могилу,
да выросло нѣсколько новыхъ липокъ, посаженныхъ ея дѣтда выросло нъсколько новыхъ линокъ, посаженныхъ ея дътскою рукою. «Неужто же, — думалъ я, — ничто не перемънилось въ то время, когда я пережилъ такъ много: върилъ въ Бога; отвергалъ Его и паки находилъ Его; любилъ мою родину и распинался съ нею и былъ съ распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбію, и я рѣшился произвести повѣрку, — всему повѣрку, — себѣ и всему, что меня окружало въ тѣ дни, когда мнѣ были новы всѣ впечатлѣнья бытія. Прежде всего я хотѣлъ видѣть мои всё впечатлёнья бытія. Прежде всего я хотёль видёть мон любимыя пустыни, и въ одно свёжее утро я поёхаль на бёгунцахъ въ П—скую пустынь, до которой отъ насъ всего двадцать съ чёмъ-то верстъ. Та же дорога, тё же поля, и галки такъ же прячутся въ густыхъ озимяхъ, и мужики такъ же клаияются ниже пояса, и бабы такъ же ищутся, лежа передъ порогомъ. Все по-старому. Вотъ и знакомыя монастырскія ворота — тутъ новый привратникъ, старый — ужъ монахомъ. Но отецъ-казначей еще живъ. Больной стариях рикъ уже доживалъ девятый десятокъ лътъ. Въ нашихъ монастыряхъ есть много примфровъ редкаго долговечія. Отецъ-казначей, однако, уже не исправляль своей должности и жиль «на поков», хотя, попрежнему, назывался не иначекакъ «отцомъ-казначеемъ». Когда меня ввели къ пему, онъ лежалъ на постели и, не узнавъ меня, засуетился и спро-силъ келейника: «Кто это?» Я. ничего не отвъчая, подошель къ старику и взяль его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте!» бормоталь отець-казначей,— «кто вы такой будете?» Я нагнулся къ нему, поцьловаль его въ лобъ и сказаль свое имя. «Ахъ ты дружочекъ, дружочекъ!.. ну что-жъ; ну. здравствуй!» заговориль старикь, снова засуетясь на своей кровати.— «Кириллъ! самоварчикъ раздуй скоръй!» сказалъ онъ келейнику.— «А я, рабъ, ужъ не хожу. Вотъ больше года ноги все пухнутъ». У отца-казначея была водяная, которою очень часто оканчиваютъ монахи, проводящіе жизнь

въ долгомъ церковномъ стоянін и въ другихъ занятіяхъ,

располагающихъ къ этой бользии.

— Зови же Василья Петровича,—сказаль казначей келейнику, когда тоть поставиль самоварь и чашки на столикъ къ постели.—Тутъ у меня одинь бъдакъ живеть,—добавиль

старикъ, обращаясь ко мнв.

Келейникъ вышелъ и черезъ четверть часа по илитяному полу сѣней послышались шаги и какое-то мычанье. Отворилась дверь и моимъ удивленннымъ глазамъ предсталъ Овцебыкъ. Онъ былъ одѣтъ въ короткую свитку изъ великорусскаго крестьянскаго сукна, цестрядиные порты и высокіе юхтовые, довольно встхіе, сапоги. Только на головъ у него была высокая черная шапочка, какія носять монастырскіе послушники. Паружность Овцебыка такъ мало измѣнилась, что, несмотря на довольно странный нарядъ, я узналъ его съ перваго взгляда.

— Василій Петровичъ! Вы ли это?—сказалъ я, идя навстрѣчу моему пріятелю, и въ то же время подумалъ: «о, кто же лучше, какъ ты, скажетъ мнѣ, какъ проиеслись надъ

здёшиний головами годы суроваго опыта?»

Овцебыкъ мнѣ какъ будто обрадовался, а отецъ-казначей удивлялся, видя въ насъ двухъ старыхъ знакомыхъ.

— Ну, вотъ и прекрасно, прекрасно, — лепеталъ онъ. —

Наливай же, Вася, чай.

- Вы выдь знаете, что я не умыю наливать чаю, отвычаль Овцебыкъ.
 - Правда, правда. Наливай ты, гостёкъ.

Я сталь наливать чашки.

 Давно вы здѣсь, Василій Петровичъ? — спросить я, подавъ Овцебыку чашку.

Онъ откусиль сахару, стрягнуль кусочекъ и, хлебнувъ

раза три, отвъчалъ: «мъсяцевъ девять будетъ».

— Куда жъ вы теперь?

- Покуда никуда.

- А можно узнать откуда?—спросиль я, невольно улыбаясь при воспоминаніи, какъ Овцебыкъ отв'язаль на подобные вопросы.
 - Можно.
 - Изъ Перми?
 - Натъ.
 - Откуда же?

Овцебыкъ поставилъ вынитую чанику и проговорилъ:

- Быль иже вездѣ и нигдѣ.
 Челновскаго не видали ли?
- НЪтъ. Я тамъ не былъ.
- Мать ваша жива ли?
- Въ богадъльнъ померла.
- Одна?
- Да вѣдь съ кѣмъ же умпраютъ-то?
- Лавно?
- Съ годъ, говорять.
- Погулянте, ребятки, а я сосну до вечерни,—сказалъ отецъ-казначен, которому ужъ тяжело было всякое напряженіе.
 - Натъ. я на озеро хочу пробхать, отвъчаль я.
- А! ну, поъзжай, поъзжай съ Богомъ и Васю свези: онъ тебь почудить дорогой.
 - Повдемте. Василій Петровичь.

Овцебыкъ почесался, взяль свой колпачокъ и отвичаль:

— Пожалуй.

Мы простились до завтра съ отцомъ - казначеемъ и вышли. На житномъ дворѣ мы сами запрягли мою лошадку и поѣхали. Василій Петровичъ сѣлъ ко миѣ задомъ спина со спиною, говоря, что иначе онъ не можетъ ѣхатъ, потому что ему воздуху мало за чужой головой. Дорогой онъ вовсе пе чудилъ. Напротпвъ, онъ быль очень неразговорчивъ и только все меня разспрашивалъ: видалъ ли я умныхъ людей въ Петербургѣ и про что они думаютъ? или, переставъ разспрашивать, начиналъ свистать то соловьемъ, то иволгой.

Въ этомъ прошла вся дорога.

У давно знакомой хатки насъ встрѣтиль низенькій, рыжій послушникь, заступившій мѣсто отца Сергія, который года три какъ умеръ, завѣщавъ свои инструменты и приготовленный матеріаль беззаботному отцу Вавиль. Отца Вавилы не было дома: онъ, по обыкновенію, гулялъ падъ озеромъ и смотрѣлъ на цапель, глотающихъ покорныхъ лягушекъ. Новый товарищъ отца Вавилы отецъ Прохоръ, обрадовался намъ точно деревенская барышня звону колокольчика. Самъ онъ бросался отпрягать нашу лошадь, самъ раздувалъ самоваръ и все увѣрялъ, что «отецъ Вавило вотъ ту минуту вернутся». Мы съ Овцебыкомъ вияли этимъ увѣ-

реніямъ, усёлись на заваленкъ лицомъ къ озеру и оба прі-

ятно молчали. Инкому не хотълось говорить.

Солнце уже совствить стало за высокія деревья, окружающія густою чащею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. Въ воздухъ было тихо. но душно.

— Гроза будетъ ночью, — сказалъ отецъ Прохоръ, таща на себъ въ съни подушку съ моихъ бъговыхъ дрожекъ.
— Затъмъ вы безпокоптесь? отвъчалъ я:—можетъ-быть,

еще и не будетъ.

Отецъ Прохоръ заствичиво улыбался и проговорилъ:

— Ничего-съ! Какое безпокойство!

— Я и лошадку тоже заведу въ сѣни, началъ онъ, выйди снова изъ хатки.

— Зачвиъ, отецъ Прохоръ?

— Гроза большая будеть: непужается, оторвется еще. Нътъ-съ, я ее лучше въ съни. Ей тамъ хорошо будетъ.

Отецъ Прохоръ отвязалъ лошадь и, войдя въ сени, тянулъ ее за поводъ, приговаривая: «иди, матушка! иди, ду-

рашка! Чего боннься?»

— Вотъ такъ-то лучше, — сказалъ онъ, уставивъ лошадь въ уголку стней и насыпавъ ей овса въ старое ръшего.-Что-й-то отца Вавилы долго нъть, право! проговориль онь, зайдя за уголъ хатки.—А вонъ ужъ и замолаживаетъ, добавиль онь, показывая рукою на сфровато-красное облачко.

На дворъ совстит смеркалось.

— Я пойду посмотрю отца Вавилу, — сказалт. Овцебыкъ и, закрутивъ свои косицы, зашагалъ въ лесъ.

Не ходите: вы съ нимъ разойдетесь.

— Небосы!-и съ этимъ словомъ онъ ушелъ.

Отецъ Прохоръ взялъ охапку дровъ и пошелъ въ избу. Скоро въ окнахъ засветилось пламя, которое онъ развелъ на загнеткъ, и въ котелкъ закипъла вода. Ин отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между твмъ, вершины деревьевъ въ это время изредка стали ноколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, какъ застывающій свинецъ. Только изредка можно было заметить бъленькие плески отъ какого-нибудь резвящагося карася, да лягушки хоромъ тянули одну монотонно-унылую поту. Я еще все сидълъ на заваленив, глядя на темное озеро и вспоминая мон въ темную даль удетввине годы. Туть тогда были эти неуклюжія

лодки, къ которымъ носилъ меня могучій Невструевъ; здѣсь я спаль съ послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь какъ-то все, какъ будто и то же, да изтъ чего-то. Изтъ беззаботнаго дзятства, изтъ теплой. животворящей въры во многое, во что такъ сладко и такъ уновательно вършлось.

— Русь духъ пахнеть! Откуда гости дорогіе?—крикнулъ отецъ Вавила, внезапно выйдя изъ-за угла хатки, такъ что я совершенно не зам'тилъ его приближенія.

Я его узналъ съ перваго раза. Онъ только совсемъ побытыть, но тоть же дытскій взглядь и то же веселое липо.

- Издалека изволите быть? -- спросиль онъ меня.

Я назвалъ одну деревню версть за сорокъ. Онъ спросилъ: не сыночекъ ли я Аванасья Павловича?

— Нѣтъ, говорю.

- Ну, все равно: милости прошу въ келью, а то дождь накрапываетъ.

Дъйствительно, началъ накрапывать дождикъ и по озеру зарябило, хотя вътра въ этой котловинъ никогда почти не бывало. Разгуляться ему здъсь было негдъ. Такое ужъ было мњето тихое.

— Какъ величать позволите?—спросиль отецъ Вавила, кегда мы совсѣмъ вошли въ его хатку.

Я назваль свое имя. Отець Вавила посмотрыль на меня, и на его добродушно-хитрыхъ губахъ показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификація моя не удалась: онъ узналь меня; мы обнялись со старикомъ, много разъ сряду поцеловались и ни съ того, ни съ сего оба заплакали.

— Дай-ка, я посмотрю на тебя поближе, — сказаль продолжавшій улыбаться отець Вавила, подводя меня къ очагу. — Ишь, выросъ!

— А вы состарълись, отецъ Вавила.

Отецъ Прохоръ засмъялся.

А они у насъ еще все молодятся, -заговорилъ отецъ

Прохоръ: — и даже ужасть какъ молодятся.

— A то по-вашему, что-ль!—храбрясь отвъчаль отецъ Вавила, но тутъ же и присътъ на стульце и добавилъ:—нѣтъ, братикъ! духъ бодръ, а плоть ужъ отказывается. Къ отцу Сергію пора. Поясницу нынче все ломить—плохъ становлюсь. - А давно умеръ отецъ Сергій?

— Третій годъ со Спиридона пошель.

- Хорошій быль старикъ,—сказаль я, всноминая нокойинка съ его налочками и ножичкомъ.
- Смотри-ка! Въ уголъ-то смотри: тутъ вся его мастерская и теперь стоитъ. Да зажги ты свъчу, отецъ Прохоръ.

— А Капитанъ живъ?

- Ахъ, ты, кота... то бишь кошку нашу Капитана помнишь?
 - Какъ же.
- Удушился, брать, Капитанъ. Подъ дежу его какъ-то занесло; дежа захлоннулась, а пасъ дома не было. Пришли, искали-искали—ивтъ нашего кота. А дня черезъ два взяли дежу, смотримъ—онъ тамъ. Теперь другой есть... гляди-ко какой: Васька! Васька!—сталъ звать отецъ Вавила.

Изъ-подъ печи вышелъ большой сърый котъ и началъ

тыкать головою въ ноги отпу Вавилъ.

-- Ишь ты бестія какая!

Отецъ Вавила взялъ кота и, положивъ его на колѣни, брюхомъ кверху, щекоталъ ему горло. Точно теньеровская картина: бѣлый какъ лунь старикъ съ сѣрымъ толстымъ котомъ на колѣняхъ, другой полу-старикъ въ углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освѣщено теллымъ, краснымъ свѣтомъ горящаго очага.

— Да зажигай свъчу-то, отецъ Прохоръ! —крикнулъ опять

отецъ Вавила.

— Вотъ сейчасъ. Никакъ не справишь.

Отецъ Вавила между тъмъ оправдывалъ Прохора и разсказывалъ мнъ:

 Мы, вѣдь, ссбѣ свѣчи теперь не зажигаемъ. Рано дожимся.

Зажили свъчу. Хата точно въ томъ же порядкъ, какъ была за двънадцать лътъ назадъ. Только вмъсто отца Сергія у печки стоитъ отецъ Прохоръ, а вмъсто бураго Канитана съ отцомъ Вавилою забавляется сърый Васька. Даже ножикъ и пучокъ кореневатыхъ палочекъ, приготовленныхъ отцомъ Сергіемъ, виситъ тамъ, гдъ ихъ повъсилъ покойникъ, приготовлявшій ихъ на какую-то потребу.

— Ну, вотъ и яйца сварились, вотъ и рыба готова, з

Василья Петровича нътъ, сказаль отецъ Прохоръ.

— Какого Василья Петровича?

— Блажного, — отвѣчалъ отецъ Прохоръ.

— Нѣшь-ты съ нимъ пріѣхалъ?

— Съ нимъ.—сказалъ я, догадываяюь, что кличка принадлежитъ моему Овцебыку.

- Кто жъ это тебя съ нимъ сюда справилъ?

— Да мы давно знакомы, —сказалъ я. — А вы мнѣ скажите, за что вы его блажнымъ-то прозвали?

Блажной онъ. братъ. Охъ, какой блажной!

Онъ—добрый челов'ккъ.

— Да я не говорю, что злой, а только блажь его одольла: онъ теперь какъ нестоющій: всьми порядками недоволень.

Было ужь десять часовъ.

— Что жъ, давайте ужинать. Авось, подойдетъ,—скомандовалъ, начиная умывать руки, отецъ Вавила. — Да, да, да: поужинаемъ, а потомъ литійку... Хорошо? По отцъ Сергів-то. говорю. литійку вст пропоемъ?

Стали ужинать и поужинали, и «со святыми упокой» произли отцу Сергію, а Василій Петровичь все еще не

возвращался.

Отець Прохорь убраль со стола лишнюю посуду, а сковороду съ рыбой, тарелку, соль, хльбъ и пятокъ янць оставиль на столь, потомъ вышель изъ хаты и, возвратясь, сказаль:

— Нѣтъ. не видать.

- Кого не видать?-спросиль отецъ Вавила.

-- Василья Петровича.

— Ужъ если бъ тутъ былъ, такъ не стоялъ бы за дверью.

Онъ теперь, видно, на прогулку вздумалъ.

Отецъ Прохоръ и отецъ Вавила непремънно хотъли меня уложить на одной изъ свеихъ постелей. Насилу и отговорился, взялъ себъ одну изъ мягкихъ, ситниковыхъ рогожъ работы покойнаго отца Сергія и улегся подъ окномъ на давкъ. Отецъ Прохоръ далъ миѣ подушку, погасилъ свъчу, еще разъ вышелъ и довольно долго тамъ оставался. Очевидно, онъ поджидалъ «блаженнаго», но не дождался, и возвратясь, сказалъ только:

— А гроза непремѣнно соберется.

 Можетъ-быть, и не будетъ, —сказаль я, желая успоконть себя насчетъ исчезнаго Овцебыка.

- Нътъ, будеть: нарило нынче кръпко.
- Да ужъ давно парить. У меня поясницу такъ и ломитъ,—подсказалъ отецъ Вавила.
- И муха съ самаго утра, какъ оглашенная, въ рожу лъзда, добавилъ отецъ Прохоръ, фундаментально повернув-шись на своей массивной кровати, и всъ мы, кажется, въ эту же самую минуту и заснули. На дворъ стояла стращная темень, но дождя еще не было.

THABA HIECTAR.

 Встань!—говорилъ мит отецъ Вавила, толкая меня на постели.-Вставы! не хорошо спать вь такую пору. Неравенъ часъ воли Божјей.

Не разобравъ въ чемъ дело, я проворно вскочиль и сълъ на лавкъ. Передъ образникомъ горъла тоненькая восковая свѣча, и отецъ Прохоръ, въ одномъ бѣльѣ, стоялъ на котыняхъ и мелился. Страшный ударъ грома, съ грохотомъ раскатившійся надъ озеромъ и загудъвшій по лысу, объясниль причину тревоги. Муха, значить, не даромъ лызла въ рожу отцу Прохору.

— Гдв Василій Петровичь?—спросиль я стариковь.

Отецъ Прохоръ, не переставая шептать молитву, обернулся ко мив лицомъ и показалъ движеніемъ, что Овпебыкъ еще не возвращался. Я посмотрълъ на мон часы: быль ровно часъ пополуночи. Отецъ Вавила, также въ олномъ бъльт и въ коленкоровомъ ватномъ нагрудникъ, смотрель вт окно; я тоже подошель къ окну и сталь смотреть. При безпрерывной молній, св'ятло озарявшей все открывавшееся изъ окна пространство, можно было видёть, что земля довольно суха. Дождя большого, значить, не было сь техъ поръ, какъ мы заснули. Но гроза была страшная. Ударъ стедовать за ударомъ, одинъ другого громче, одинъ другого ужаснъе, а молнія не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было съ грохотомъ упасть на землю огненнымъ потокомъ.

- Гдф онъ можетъ быть? -- сказалъ я, невольно думая объ ОвнебыкЪ.
- -- И не говори лучше, отозвался отецъ Вавила, не отходя отъ окна.
 - Не случилось ли чего съ нимъ?

- Да случиться, кажется, чему бы! Звѣря большого нѣтъ тутъ. Развѣ лихой человѣкъ такъ и то не слышно было давно. Нѣтъ, такъ, небось, ходитъ. Вѣдъ на него какая блажь найлетъ.
- А видъ точно прекрасный, —продолжалъ старикъ, любуясь озеромъ, которое молнія освъщала до самаго противоположнаго берега.

Въ это мгновеніе грянуль такой ударъ, что вся хата затряслась; отецъ Прохоръ упаль на землю, а насъ съ отцомъ Вавилою такъ и отбросило къ противоположной стѣнѣ. Въ сѣняхъ что-то рухнуло и повалилось къ двери, которою входили въ хату.

— Горимъ!—закричалъ отепъ Вавпла, первый выйдя изъ общаго оцъпенънья, и бросплся къ двери.

Дверь нельзя было отпереть.

— Пустите,—сказаль я, совершенно увѣренный, что мы горимъ, и съ размаху крѣпко ударилъ илечомъ въ дверь.

Къ крайнему нашему удивленію, дверь на этотъ разъ отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетьть за порогъ. Въ съняхъ было совершенно темно. Я вернулся въ хату, взяль отъ образника одну свичечку и съ нею опять вышель въ свии. Шумъ весь надвлала моя лошадь. Перепуганная послёднимъ ужаснымъ ударомъ грома, она дернула поводъ, которымъ была привязана къ столбу, повалила пустои капустный наполь, на которомъ стояло ръшето съ овсомъ, и, кинувшись въ сторону, притиснула нашу дверь своимъ тёломъ. Бёдное животное пряло ушми, тревожно водило кругомъ глазами и тряслось встми членами. Втроемъ мы все привели въ порядокъ, насыпали новое решего овса и возвратились въ хату. Прежде чемъ отецъ Прохоръ внесъ свъчечку, мы съ отдомъ Вавилою замьтили въ хатив слабый свыть, отражавшийся черезъ окно на стви. Посмотрвли въ окно, а какъ разъ, напротивъ, на томъ берегу озера, словно колоссальная свичка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голомъ песчаномъ холмъ.

- -- А-а!-протянуль отець Вавила.
- Молонья зажгла, -- подсказаль отецъ Прохоръ.
- И какъ горить прелестно!—сказаль опять художественный отецъ Вавила.

- Богомъ ей такъ назначено, отвичаль богобоязливый отецъ Прохоръ.

— Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утпхла.

Дъйствительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекіе раскаты грома, да по небу тяжело ползла черная безконечная туча, казавшаяся еще чернье оть горящей сосны.

- Глядите! глядите!-неожиданно воскликнулъ все еще смотръвший въ окно отепъ Вавила. — Въдь это нашъ

блажной!

-- Гдв?-спросили въ одинъ голосъ я и отецъ Прохоръ, и оба глянули въ окно.

- Ла вонъ, у сосны.

Дъйствительно, шагахъ въ десяти отъ горящей сосны ясно обрисовывался силуэть, въ которомъ можно было съ перваго взгляда узнать фигуру Овцебыка. Онъ стоялъ, заложа руки за спину, и, поднявъ голову, смотрълъ на горъвшіе сучья

— Прокричать ему?—спросиль отецъ Прохоръ.

— Не услышитъ, — отвъчаль отецъ Вавила. — Видите, шумъ какой: невозможно услышать.

— II разсердится, — добавиль я, хорошо зная натуру моего прізделя.

Постояли еще у окна. Овцебыкъ не трогался. Назвали его нъсколько разъ блаженнымь», и легли на свои мъста. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но въ этотъ разъ мнЪ было нестериимо жаль моего страдающаго пріятеля... Стоя рыцаремъ печальнаго образа передъ горящею сосною, онъ мнв казался шутомъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некник-ныхъ» отцовъ не было въ хаткъ. У стола сидълъ Василій Нетровичь. Онъ держаль въ рукахъ большой ломоть ржа-ного хлъба и прихлебывалъ молокомъ, прямо изъ стоящаго передъ нимъ кувшина. Замътивъ мое пробуждение, онъ взглянуль на меня и молча продолжаль свой завтракь. Я съ нимъ не заговариваль. Такъ прошло минутъ двадцать.
— Чего растягиваться-то?—сказаль, наконець, Василій Петровичь, поставивъ вышитый имъ кувщинъ молока.

- А что жъ бы намъ начать делать?

— Пойдемъ бродить.

Василій Петровичь быль вы самомы веселомы расположеній духа. Я очень дорожиль этимы расположеніемы и не сталь его разспрашивать о ночной прогулкь. Но онь самы заговориль о ней, какы только мы вышли изы хаты.

— Йочь была грозная какая!—началь Василій Петро-

вичь.-Просто, не запомню такой ночи.

— А дождя, вѣдь, не было.

— Начиналь разъ пять, да не разошелся. Люблю я, смерть, такія ночи.

— А я не люблю ихъ.

- Отчего?
- Да что жъ хорошаго-то? вертить, ломить все.
- -- Гм! вотъ то-то и хорошо, что все ломитъ.
- -- Еще придавить ни за что, ни про что.
- Эко штука!
- -- Воть сосну разбило.
- Славно горъла.
- Мы видѣли.
- II я видълъ. Хорошо жить въ лъсахъ.
- Комаровъ только много.
- Эхъ. вы, канареечный заводъ! Комары зафдять.
 Они и медвъдей. Василій Петровичъ, донимають.
- Да, а все жъ медвѣдь изъ лѣсу не пойдетъ. Полюбилъ я эту жизнь.—продолжалъ Василій Петровичъ.
 - Лъсную-то?
- Да. Въ съверныхъ-то лъсахъ что это за прелесть! Густо, тихо, листь ажъ синій—отлично!
 - Да ненадолго.
 - Тамъ и зимой тоже хорошо.
 - Ну, не думаю.
 - Нътъ, хорошо.
 - Что жъ вамъ тамъ нравилось?
 - Тихость, и сила есть въ топ тихости.
 - А каковъ народъ?
 - Что значить: каковъ народъ?
 - Какъ живеть и чего ожидаеть?

Василій Петровичь задумался.

- Вы вёдь два года съ ними прожили?
- Да, два года и еще съ хвостикомъ.
- И узпали пуч?

— Да чего узнавать-то?

-- Что въ тамошнихъ людяхъ тантся?

-- Дурь въ нихъ таптся.

- А вы же прежде такъ не думали?

- Не думаль. Что думы-то наши стоять? Думы ть со словь строились. Слышишь «расколь», «расколь», сила, протесть, и все думаешь открыть въ нихъ нивъсть что. Все думаешь, что тамъ слово такое, какое нужно, знають и только не върять тебъ, оттого и не доберешься до живца.

— Ну, а на самомъ дълъ?

— А на самомъ дълъ-буквоъды, вотъ что.
 — Да вы съ ними сощлись ли хорошо?

— Да какъ еще сходиться-то! Я вѣдь не съ тъмъ шелъ, чтобы баловаться.

— .Какъ же вы сходились-то? Въдь это интересно. Разскажите, пожалуйста.

Очень просто: пришель, напался въ работники, работаль какъ воль... Вотъ ляжемъ-ка тугъ надъ озеромъ.

Мы легли, и Василій Петровичъ продолжаль свой разсказь, по обыкновенію, короткими отрывистыми выраженіями.

- Да, я работаль. Зимою я назвался переписывать книги. Уставомы и полууставомы писать наловчился скоро. Только все книги чорты ихы знаеты какія давали. Не такія, какихы я надвялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пыніс, и только. А больше ничего. Потомы стали все зваты меня; «Иди, говорять, совсёмы къ намы!»—Я говорю: «все одно. я и такъ вашы».—«Облюбуй дывку и иди къ кому-нибудь во дворы». Знаете, какы мні непонутру! Однако, думаю, не изъ-за этого же бросить діло. Пошель во дворы.
 - Вы?
 - A то кто жь?
 - Вы женились?
 - Взяль дівку, такъ стало-быть женился.

Я просто остолбеньть отъ удивленія и невольно спросить:

- Ну, что жъ дальше вышло?
- А дальше дрянь выниа, сказалъ Овцебыкъ, и на лицъ его отразились и зло, и досада.
 - -- Женою, что ли, вы несчастинвы?

- Да развѣ жена можетъ сдѣлать мое счастіе или несчастіе? Я самъ себя обманулъ. Я думалъ найти тамъ городъ, а нашель лукошко.
 - Раскольники не допустили васъ до своихъ тайнъ?
- До чего допускать-то! съ негодованіемъ вскрикнуль Овцебыкъ. —Только вёдь за секретомъ все и дъло. Поинмаете, этого слова-то «Сезамъ, отворись», что въ сказкъ говорится, его-то и иѣтъ! Я знаю всъ ихъ тайны, и всъ они ирезрънія единаго стоятъ. Сойдутся, думаешь, думу великую зарѣшатъ, анъ чортъ знаетъ что—«благая честь, да благая вѣра». Въ вѣрѣ благой они останутся, а въ чести благой тотъ, кто въ чести сидитъ. Забобоны да буквоѣдство, лъстовки изъ ремня да плеть бы ременную подлинпъе. Не ихъ ты креста, такъ и дѣла до тебя нѣтъ. А ихъ, такъ нѣтъ, чтобъ тебѣ подняться дали, а въ богадѣльню ступай, коли старъ или слабъ, и живи при милости на кухнѣ. А молодъ—въ батраки иди. Хозяинъ будетъ смотрѣть, чтобъ ты не баловался. На бѣломъ свѣтѣ тюрьму увидишь. Все еще соболѣзнуютъ, индюки проклятые: «Страху мало. Страхъ, говорятъ, исчезаетъ». А мы на нихъ надежды, мы на нихъ упованія возверзаемъ!.. Байбаки дурацкіе, только морочатъ своимъ секретничаньемъ.

Василій Петровичь съ негодованіемъ илюнуль.

— Такъ, стало-быть, нашъ здішній простой мужнкъ лучше?

Василій Петровичь задумался, потомъ еще плонуль и

спокойнымъ голосомъ отв'иаль:

- Не въ примъръ лучше.Чъмъ же особенно?
- Тѣмъ, что не знастъ, чсго желастъ. Этогъ разсуждаетъ такъ, разсуждаетъ и иначе, а у того одно разсужденіе. Все около своего изльца могаетъ. Простую вотъ такую-то землю возьми, либо старую илотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворостъ въ ней есть, хворостъ и будетъ, а хворостъ повытаскаеть, опять одна земля, только еще дуромъ взбуровленная. Такъ вотъ и разсуждай, что лучше-то?

— Какъ же вы ушли?

- Такъ и ушелъ. Увидалъ, что дълать нечего, и ушелъ.
- A жена?
- Что же вамъ про нее интересно?

- Какъ же вы ее одну тамъ оставили?
- А куда же мив съ нею дваться?
- Увести ее съ собою и жить съ нею.
- Очепь нужно.
- Василій Петровичь, вѣдь это жестоко! А если она васъ полюбила?
- Вздоръ говорите! Что еще за любовь: нынче уставщикъ почиталъ—мив жена; завтра «поблагословится»—съ другимъ въ чуланъ спать пойдетъ. Да и что мив до бабы, что мив до любви, что мив до всвхъ бабъ на свътв!
- Но человъкъ же она, говорю.—Пожальть-то ее всетаки слъдовало бы.
- Воть въ этомъ-то смыслѣ бабу-то пожалѣть!.. Очень важное дѣло, съ кѣмъ ей въ чуланъ лѣзть. Какъ разъ время къ сему, чтобъ объ этомъ печалиться! Сезамъ, Сезамъ, кто знаетъ, чѣмъ Сезамъ отпереть,—вотъ кто нуженъ!—заключилъ Овцебыкъ и заколотилъ себя въ грудь.—Мужа, дайте мужа намъ, котораго бы страсть не дѣлала рабомъ, и его одного мы сохранимъ душѣ своей въ святѣйшихъ нѣдрахъ.

Дальнѣйшая бесѣда наша съ Василіемъ Петровичемъ не ладилась. Пообѣдавъ у стариковъ, я завезъ его въ монастырь, простился съ отцомъ-казначеемъ и уѣхалъ домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Спустя дней десять послё моей разлуки съ Васильемъ Петровичемъ, я сидёлъ съ матушкою и сестрою на крылечке нашего маленькаго домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать и возлё дома никого кроме насъ не было. Везде была кругомъ глубочайшая вечерняя тишина, и вдругъ среди этой тишины две большія дворныя собаки, лежавшія у нашихъ ногъ, разомъ вскочили, бросились къ воротамъ и съ озлобленіемъ на кого - то напали. Я всталъ и пошелъ къ воротамъ посмотреть на предметъ ихъ злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоялъ Овцебыкъ и насилу отмахивался палкою огъ двухъ неовъ, напавшихъ на него съ человёческимъ ожесточеніемъ.

- Зайли было, проклятыя,—сказаль онъ мнв, когда я отогналь собакъ.
 - Вы пршкомъ?
 - Какъ видите, на цуфускахъ.

У Василья Петровича за спиною быль и мішочекь, съ которымь онь обыкновенно путешествоваль.

— Пойдемте же.

-- Куда?

- Ну, къ намъ въ домъ.

Нѣтъ, я туда не пойду.Отчего не пойдете?

— Тамъ какія-то барышни.

-- Какія барышин! Это-мать моя и сестра.

— Все равно, не пойду.

-- Полноте чудить! онв люди простые.

— Не пойду! — ръшительно сказаль Овцебыкъ.

Куда жъ мнѣ васъ дѣть?

— Нужно куда-нибудь дёть. Мнё некуда дёваться.

Я вспомниль о бант, которая льтомъ была пуста и нерьдко служила сцальнею для прітажающихъ гостей. Домикъ у насъ быль маленькій, «шляхетскій», а не «панскій».

Черезъ дворъ, мимо крыльца, Василій Петровичъ тоже ни за что пе хотѣлъ идти. Можно было пройти черезъ садъ, но я зналъ, что баня заперта, а ключъ отъ нея у старой няни, которая ужинаетъ въ кухнѣ. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали бы собаки, отошедшія отъ насъ только на нѣсколько шаговъ и злобно лаявшія. Я перегнулся черезъ частоколь, за которымъ стояль съ Васильемъ Петровичемъ, и громко крикнулъ сестру. Дъвочка подбѣжала и остановилась въ неудомѣніи, увидя оригинальную фигуру Овцебыка въ крестьянской свиткъ и послушничьемъ колпакъ. Я послалъ ее за ключомъ къ нянъ и, получивъ вожделѣнный ключъ, повелъ моего нежданнаго гостя черезъ садъ въ баню.

Всю ночь напролеть мы проговорили съ Васильемъ Петровичемъ. Ему нельзя было возвращаться въ пустынь, откуда онъ пришелъ, ибо его оттуда выгнали за собесъдованія, которыя онъ задумалъ вести съ богомольцами. Идти въ иное мъсто у него не было никакого илана. Неудачи его не обезкуражили, но разбили на время его соображенія. Онъ много говорилъ о послушникахъ, о монастыръ, о приходящихъ туда со вскът сторонъ богомольцахъ, и все это говорилъ довольно послъдовательно. Василій Цетровичъ, живучи въ мойастыръ, приводилъ въ исполненіе самый ори-

гинальный илант. Мужей, которыхъ бы страсти не дълали рабами, онъ искалъ въ рядахъ униженныхъ и оскоролен-иыхъ монастырской семьи и съ ними хотъль отпереть свой Сезамъ, двйствуя на массы приходящаго на богомолье народа.

- Этого пути никто не видитъ; его никто не сторожится; имъ не брегутъ зиждущіе; а тутъ-то и есть то, что нужно во главу угла,—разсуждалъ Овцебыкъ.
Припоминая себѣ хорошо знакомую монастырскую жизнь

и тамошнихъ людей изъ разряда униженныхъ и оскороленныхъ, я готовъ былъ признать, что соображенія Василья

Петровича во многомъ не лишены основанія.

Но пропагандисть мой уже прогорыть. Первый мужь, стоявшій, по его мніню, выше страстей, мой старый знакомый, послушникъ Невструевъ, въ монашествъ дьяконъ. Лука, сдълавшись повъреннымъ Богословскаго, вздумаль помочь своему униженію и оскорбленію: онъ открыль начальству «коего духа» Овцебыкъ, и Овцебыкъ былъ вы-гнапъ. Теперь онъ былъ безъ пріюта. Мив черезъ неділю нужно было такть въ Петербургъ, а у Василья Петровича не было мъста, куда бы приклонить голову. Оставаться у моей матери ему было невозможно, да и онъ самъ не хотвлъ этого.

- Найдите мит опять кондицію, я обучать хочу, тово-

рилъ онъ.

Пужно было искать кондицію. Я взяль съ Овцебыка слово, что онъ новое мъсто приметь только для мъста, а не для постороннихъ цёлей, и сталъ искать ему пріюта.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Въ нашей губерніи очень много мелкопомістныхъ деревень. Вообще у насъ, говоря языкомъ членовъ с.-петербургскаго политико-экономическаго комптета, довольно распространено хуторное хозяйство. Однодворцы, владъвшие крыпостными людьми, послъ отобранія у нихъ крестьянъ, остались хуторянами, небольше помъщики промогались и крестьянъ попродали на сводъ въ дальній губерній, а землю купцамъ или разбогатъвшимъ однодворцамъ. Около насъ было пять или шесть такихъ хуторовъ, перешединкъ въ руки лицъ недворянской крови. Въ ияти верстахъ отъ нашего хутора быль Барковъ-хуторъ: такъ онъ назывался по

имени своего прежняго владітеля, о которомъ говорили, что въ Москві онъ жилъ когда-то

> Праздно, весело, богато И отъ разныхъ матерей Прижилъ сорокъ дочерей,

а на старости лътъ вступилъ въ законный бракъ и продаваль именіе за именіемь. Барковь-хуторь, составлявшій настранов промотавшагося в промотавшагося в промотавшагося оарина, принадлежалъ теперь Александру Ивановичу Сви-Ридову. Александръ Ивановичъ родился въ крыпостномъ сословін, обучень грамоть и музыкь. Смолоду онъ играль на скришкъ въ помъщичьемъ оркестръ, а девятнадцати лътъ откупился за пятьсоть рублей на волю и сділался винокуромь. Одаренный яснымъ практическимъ умомъ, Александръ Ивановичь отлично повель свои дела. Сначала онъ сделаль себв извъстность, какъ лучшій винокурь въ околоткь; потомъ сталъ строить винокуренные заводы и водяныя мельницы; собраль рублей тысячу свободныхъ съвздиль на годъ въ свверную Германію и возвратился оттуда такимъ строителемъ, что слава его быстро разнеслась на далекое пространство. Въ трехъ смежныхъ губерніяхъ знали Александра Ивановича и на перебой навязывали сму постройки. Дела онъ велъ необыкновенно аккуратно и снисходительно смотриль на дворянскія слабости своихъ заказчиковъ. Вообще онъ зналъ людей и часто смёялся въ рукавъ надъ многими, но быль человекъ недурной и даже, пожалуй, добрый. Его все любили, кроме мъстныхъ нъмцевъ, надъ которыми онъ любилъ подтрунивать, когда они принимались вводить культурные порядки съ полудикими людьми. «Обезьяну, говорилъ онъ, —сейчасъ сділаеть», и німець, дійствительно, какъ нарочно, ошибался въ расчеть и делаль обезьяну. Черезъ пять леть по возвращенін изъ Мекленбургъ - Шверина, Александръ -Ивановичь купиль у своего бывшаго помъщика Барковъхуторъ, записался въ купечество нашего увзднаго городка, выдаль замужь двухъ сестерь и жениль брата. Семья была выпуплена имъ изъ кръпостного званія еще до пофздки за границу и вся держалась вокругъ Александра Ивановича. Брать и зятья вст были у него на службь и на жалованьт. Обращался онъ съ ними крутенько. Не обижать, но держалъ въ страхт. Такъ онъ держалъ и приказчиковъ,

п рабочихъ. И пе то, чтобы онъ любилъ почетъ, а такъ... Убъжденъ онъ былъ, что «нужно, чтобъ люди не баловались». Кунивъ хуторъ, Александръ Ивановичъ выкунилъ у того же помъщика горинчную дѣвушку Настасью Петровну и сочетался съ ней законнымъ бракомъ. Жили они всегда оченъ согласно. Люди говорили, что у нихъ «совътъ да любовь». Вышля замужъ за Александра Ивановича, Настастья Петровна, что говорятъ, «раздобрѣла». Она всегда была писаная красавица, но замужемъ расцвѣла какъ пышная роза. Высокая, бѣлая, пемножко полная, но стройная, пъмященъ во всего неку и больше даскавые голубые глаза. румянецъ во всю щеку и большіе, ласковые голубые глаза. Хозянка Настасья Петровна была очень хорошая. Мужъ, бывало, ръдко когда недълю просидить дома-все въ разъ-куда на заводы, покупаеть. Во всемъ она была Александру Ивановичу правал рука, и зато всв относились къ ней очень серьезно` и съ большимъ уваженіемъ, а мужъ въочень серьезно и съ большимъ уваженимъ, а мужъ върилъ ей безъ мъры и съ нею не держался своей строгой политики. Ей у него ии въ чемъ отказу не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучилась и имя свое умъла подписывать. Дътей у нихъ было всего двъ дъвочки: старшей девять лътъ, а младшей семь. Учила ихъ гувернантка изъ русскихъ. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочемъ, она знала едва ли менъе многихъ иныхъ такъ-называемыхъ воспитанныхъ дамъ. По-французски она не разумъла, но рус-скія книги просто пожирала. Память у ней была страш-ная. Карамзинскую исторію, бывало, чуть не папзусть раз-сказываетъ. А стиховъ на память знала безъ счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последній оенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последній быль особенно понятень и сочувствень ея много перестрадавшему въ былое время крепостному сердцу. Въ разговор у нея еще часто прорывались крестьянскія выраженія, особенно когда она говорила съ воодушевленіемь, но эта народная рачь даже необыкновенно шла къ ней. Бывало, если она станетъ разсказывать этой рачью что-нибудь прочитанное, такъ такую силу придасть своему разсказу, что после ужъ читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наёзжало въ Барковъ-хуторъ, иногда такъ, чужого ужина попробовать, а

больше по дъламъ. Александру Ивановнчу вездѣ былъ кредить отпрытый, а помещикамь мало верили, зная ихъ плохую расплату. Говорили: «онъ аристократь — дай ему, да ори сто кратъ». Такова была ихъ репутація. Понадобится хлѣбъ — вино курить не изъ чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старыхъ долговъ пошли, - ну, и тянуть къ Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчикъ, такой-сякой, поручись». Тутъ у Настасы Петровны ручки цълують - ласковые такіе и простодушные. А она, бывало, выйдеть, да помираеть-хохочеть. «Видели, говорить. жиристова-то!» Настасья Петровна «жиристами» зывала дворянъ съ тъхъ поръ. какъ одна московская барыня, вернувшись вы свое разоренное нибніе, хотіла «воспитать дикій самородовъ» и говорила: «какъ же вы не понимаете ma belle Anastasie, что вездъ есть свои жирондисты!» Вирочемъ, руку у Настасьи Петровны всѣ пѣловали, и она къ этому привыкла. Но были и такіе ухорцы, что отпрывались ей въ любви и звалиее «подъ свиьструй. Одинъ леноъ-гусаръ доказывалъ ей даже безопасность такого поступка, если она захватить съ собой юхтовый бумажникъ Александра Пвановича. Но

Они страдали безусившно.

Пастасья Петровна умёла держать себя съ этими поклон-

никами красоты.

Къ этимъ людямъ—къ Свиридовой и къ ея мужу — я п ръшиль обратиться съ просьбой о моемъ неуклюжемъ пріятель. Когда я прітхаль просить за него, Александра Ивановича, по обыкновенію, не было дома; я засталь одну Настасью Петровну и разсказаль ей, какого мит судьба послала малольтка. Черезъ два дня я отвезъ къ Свиридовымъ моего Овцебыка, а черезъ недълю потхаль къ нимъ снова проститься.

— Что ты. братъ, мнъ бабу тутъ безъ меня сбиваениь? спросилъ меня Александръ Ивановичъ, встръчая меня из

прыльцв.

— Чъмъ я сбиваю Настасью Петровну?—спросилъ я въ свою очередь, не понимая его вопроса.

— Какъ же. помилуй, для чего ты въ филаптропію ее затягиваещь? Какого ты ей тутъ шута на руки навязаль?

Слушайте ero! — закричалъ изъ окна гнакомый не-

множко різкій контральть. — Отличный вашь Овцебыкъ. Я вамъ за него очень благодарна.

-- А взаправду, что ты за зввря такого намъ завезъ?спросиль Александръ Ивановичь, когда мы взощли въ его чертежную.

Овцебыка, — отвъчалъ я, улыбаясь.

--- Пепонятный, брать, какой-то!

- Ч/ыть?

- Ла совскить блажной какоп-то!
- Это сначала.
- А можетъ-быть, подъ конецъ хуже будетъ? Я разсмъялся, и Александръ Ивановичъ тоже.
- Да, парень, сміхъ-сміхомъ, а куда его діть? Відь мив, право, такого приткнуть некуда.

Пожалуйста, дай ему что-нибудь заработать.

— Да въдь не о томъ! Я не прочь; да куда его определить-то? Ведь ты гляди, какой онъ, —сказалъ Александръ Ивановичь, указывая на проходившаго въ эту минуту по двору Василья Петровича.

Я посмотрель, какъ тотъ шагаеть, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая коспцу, и самъ подумаль: «Куда бы его, въ самомъ дель, однако можно было

«?атиг.атрадно

— Пусть на порубив смотрить, — посовътовала муж / хозяйка.

Александръ Пвановичъ засмеялся.

- Пусть его будеть на порубкь, сказаль и я.
 Эхъ. вы, дъти малыя! Что онъ тамъ будеть двлать? Тамъ ведь непривычный человекъ со скуки повесится. А мой згадъ — дать ему сто рублей, да пусть идеть куда знаеть, и пусть ділаеть что хочеть.
 - Нътъ, ты его не отгоняп.
- Да, этакъ обидъть можно!
 —поддержала меня Настасья Петровна.
- Ну, куда жъ я его дену? У меня ведь все мужнин; я самь мужикъ; а онъ...
 - Тоже не баринъ. сказалъ я.
- Ни баринъ, ни крестьянинъ, да и ни на что никуда не годящійся.
 - Да отдай ты его Иастасы Петровнъ.
 - Право, отдай, вмыналась она снова.

- Бери, бери, моя матушка.

— Ну, и прекрасно,—сказала Настасья Петровна. Овцебыкъ остался на рукахъ Настасыи Петровны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ августъ мъсяцъ, живучи уже въ Петербургъ, я получилъ въ почтамтъ страховое письмо со вложенамъ пяти-десяти рублей серебромъ. Въ письмъ было написано:

«Возлюбленный брате!

Я нахожусь при истреблении люсовь, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мнів жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя подъ это подговорилась, но сія ихъ великатность пусть будеть втуне: я въ семъ не нуждаюсь. Десять цілковыхъ себі оставиль, а пятьдесять, при семъ прилагаемыхъ, тотчасъ, безг всякию письма, оточилите крестьянской дівниції Глафирії Анфиногеновой Мухиной въ деревню Дубы, — ской губерній — скаго удзда. Да чтобъ не знали, отъ кого. Это та, которая будто жена моя: такъ это ей на случай, если дитя родплось.

Тутъ мое житье ностылое. Дълать мив здѣсь нечего, и я однимъ себя утѣшаю, что нигдъ, видно, нечего дѣлать, опричь того, что всв дѣлаютъ: родителей поминаютъ да свои брюхи набиваютъ. Здѣсь всѣ на Александра Свиридова молятся. Александръ Ивановичъ! — и человѣка больше ни для кого нѣтъ. До него все дорасти хотятъ, а что онъ такое

за суть, сей мужъ кармана?

Да, поняль нынѣ п я нѣчто, поняль. Разрѣшиль я ссоѣ «Русь. куда стремишься ты?» и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Вездѣ все одно. Черезъ Александровъ Ивановичей не перескочишь.

Василій Богословскій».

Ольгина-Пойма. 3 августа 185... года.

Въ первыхъ числахъ декабря я получилъ другое письмо. Этимъ письмомъ Свиридовъ извъщалъ меня, что онъ вывъжастъ на-дняхъ въ Петербургъ съ женою, и просилъ нанять ему удобную квартирку.

Дней черезъ десять послѣ этого второго письма Александръ Ивановичъ съ женою сидъли въпремиленькой квартирь противъ Александривского театра, отогръвались часыть и отогравали мою лушу разсказами о той далекой сторона,

Гдь сны златые спились мив.

- А что же вы мыв не скажете, -спросиль я, улучивъ минуту:--что двлаетъ мой Овцебыкъ?

- Брыкается, брать, - отвъчаль Свиридовъ.

- Какъ, брыкается?
- Чудить. Къ намъ не ходить, пренебрегаеть, что ли, все съ рабочими якшался, а теперь и это, должно-быть, надовло: просилъ, чтобъ его въ другое мъсто отправить.

— Что жъ вы-то?—спросиль я Настасью Петровну.—На васъ, вёдь, вся надежда была, что вы его приручите?

— Чего надежда? Отъ нея-то онъ и бъгаетъ.

Я взглянуль на Настасью Петровну, она на меня.

— Что будешь дълать? Страшна, видно, я.

- Да какъ же это? Разскажите.
- Что говорить? и говорить-то не про что просто: прищель ко мив, да и говорить: «отпустите меня».- «Куда?» говорю. — «Я, говорить, не знаю». — «Да чыль вамь худо у меня?» — «Мив, говорить, не худо, а отпустите». — «Да что же, моль, такое?» Молчить. «Обидьлъ васъ кто, что ли?» Молчить, только косицы крутить. «Вы, говорю, Насть сказали бы, что вамъ худого дѣлаютъ».—«Яѣтъ, вы, говоритъ, по-шлите меня на другую работу». Жаль стало мнв его "совсьмъ выправить — послать на другую порубку въ Жогово, верстъ за тридцать. Тамъ онъ и теперь, —прибавиль Александръ Ивановичъ.

- Чамъ же вы его такъ разогорчили? спросилъ я На-

стасью Петровну.

— А ужъ Богъ его знаетъ: я его инчъмъ не огорчала.

— Какъ мать родная за нимъ упадала, —поддержалъ Свиридовъ. Общила, одъла, обула. Въдь знаешь, какая она серлобольная.

- Ну, и что же вышло?

— Не взлюбилъменя, —смѣясь, сказала Настасья Петровиа. Зажили мы знатно съ Свиридовыми въ Петербургь. Александръ Ивановнуъ все хлопоталъ по дъламъ, а мы съ Настасьей Петровной все «болгались». Городъ ей очень поправился: но особение она полюбила театры. Всякій вечеръ мы ходили въ какой-нибудь театръ, и никогда это ей не

паскучало. Время шло быстро и пріятно. Отъ Овцебыка я въ это время получилъ еще одно письмо, въ которомъ онъ ужасно злобно выражался объ Александра Ивановичь, «Разобпинки и чужеземцы», писаль онъ,-«по мив лучие, чъмъ эти богатки изъ русскихъ! А вск за нихъ и черевы лопаются какъ подумаещь, что это такъ и быть должно, что всв за нихъ будутъ. Вижу я нъчто дивное: вижу, что онъ, сей Александръ Ивановъ, мнв во всемъ на дорогв стоятъ, прежде чемъ я узналъ его. Вотъ ито врагъ-то народный -сей видъ сытаго мужлана, мужлана, питающаго отъ крупццъ своихъ перекатную голь, чтобы она не сразу передохла, да на него бы работала. Сей вотъ самый христіанинъ нашему нраву подъ стать и онъ всехъ и победить и дондеже пріндуть отложенная ему. Съ монии мыслями намъ вдвоемъ на одномъ свътъ жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо онъ излюбленный ихъ. Онъ хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни къ чорту не годится. Недаромъ вы какимъ-то звъринымъ именемъ называли. Никто меня не признаетъ своимъ, и я ни въ комъ своего не призналъ». Затъмъ онъ просилъ написать, живъ ли я и какъ илветъ Настасья Петровна. Этимъ же временемъ изъ Вытегры къ Александру Ивановичу зашли бондари, сопровождавине вино съ одного завода. Я ихъ взяль къ себъ въ свободную кухню. Ребята все были знакомые. Съ ними мы какъ-то разговорились о томъ, о семъ, и до Овцебыка дошло.

Какъ онъ у васъ поживаетъ? — спрашиваю ихъ.

-- Ничего, живетъ!

— Дъйствуетъ, подсказываетъ другой.

- А что онъ работаетъ?

— Ну, какая отъ него работа! Такъ, нивѣсть для чего его хозяннъ содержитъ.

- Въ чемъ же онъ время проводитъ.

— Слоняется по лѣсу. Указано ему отъ хозянна въ родѣ приказчика рубку записывать. и того пе дѣлаютъ.

- Отчего?

- Ето его знаетъ. Баловство отъ хозянна.
- А здоровый онъ, продолжаль другой бондарь. Иной разъ возьметь топоръ, да какъ почнеть садить ухъ! только искорья летятъ.

— А то на караулъ ходилъ еще

-- На какой караулъ?

— Брехаль народь, что былые будто ходять, такь онь по цылым ночамь сталь пропадать. Ребята подумали, что и онь не заодно ли съ тыми былыми, да и подкарауль его. Какъ онъ пошелъ, а они втроемъ за нимъ. Видятъ, прямо на хуторъ поперъ. Ну, только ничего — все пустяки вышли. Сылъ, сказываютъ, подъ ракитой, насупротивъ хозяйскихъ оконъ. подозвалъ Султанку, да такъ и просидыть до зорьки, а зорькою поднялся и опять къ своему мъсту. Такъ и въ другой, и въ третій. Ребята и бросили за нимъ смотръть. Почитай до осени до самой такъ ходилъ. А послъ Успенья тутъ какъ-то ребята стали разъ спатъ ложиться, да и говорять ему: «Полно, Петровичъ, на караулъ-то тебъ ходить! Ложись-ко съ нами». Ничего не сказаль, а черезъ два дни, слышимъ, отпросился: въ другую дачу его хозяниъ поставилъ.

— А любили его, — спрашиваю, — ваши ребята-то?

Бондарь подумаль и сказаль:

- Ничего будто.

Вѣдь онъ добрый.

— Да, онъ худа не дълалъ. Разсказывать, бывало, когда что зачиетъ про Филарета Милостиваго, либо про другое что, то все на доброту сворачиваетъ, и противъ богачества складно говоритъ. Ребята его много которые слушали.

— II что же: нравилось имъ?

- Ничего. Тоже другой разъ и смъшно сдълаетъ.

- А что же бываеть смышно?

— А вотъ, напримъръ, говоритъ-говоритъ про божество, да вдругъ—про господъ. Возьметъ горсть гороху, выберетъ что ни самыя ядреныя гороховины, да и разсажаетъ ихъ по свиткъ: вотъ это, говоритъ, самый набольшій — король; а это, поменьше — его министры съ киязьями; а это, еще поменьше — баре, да купцы, да попы толстонузые: а вотъ это — на горсть-то показываетъ — это, говоритъ, мы, гречкосъи. Да какъ этими гречкосъями-то во всъхъ въ принцевъ и въ ноповъ толстонузыхъ шарахнетъ: все и сравняется. Куча станетъ. Ну, ребята, извъстно, смъются. Покажи, просятъ, опять эту комедію.

— Это онъ такъ, извъстно, дурашенъ, — подсказалъ

другой.

Оставалось молчать.

- A изъ какихъ онъ будетъ? Не изъ комедіантовъ? спросилъ второй бондарь.
 - Съ чего это вы выдумали?

— Пародъ такъ-то банлъ. Миронка, что-ли, сказывалъ. Миронка былъ маленькій, вертлявый мужикъ, давно разъважающій съ Александромъ Ивановичемъ. Онъ слылъ за иввца, сказочника и балагура. Въ самомъ дълв, онъ иногда выдумывалъ нелвшыя утки и мастерски распускалъ ихъ между простодушнымъ народомъ и наслаждался плодами своей изобрвтательности. Очевидно было, что Василій Иетровичъ, сдълавшись загадкою для ребятъ, рубившихъ лѣсъ, сдѣлался и предметомъ толковъ, а Миронка воспользовался этимъ обстоятельствомъ и сдѣлалъ изъ моего героя отставного комедіанта.

ГЛАВА ОДПННАДЦАТАЯ.

Была масленица. Мы съ Настасьей Петровной едва достали билетъ на вечерній спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотьлось видьть. Спектакль шелъ очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы съ Настасьей Петровной пошли домой изшкомъ. Дорогою я замътиль, что моя винокурша очень задумчива и часто отвъчаетъ невиопадъ.

— Что васъ такъ занимаетъ? — спросилъ я ее.

- А что?
- Да вы не слышите, что я вамъ говорю.

Настасья Петровна засм'ялась.

- А какъ вы думаете: о чемъ я задумываюсь?
- -- Трудно отгадать.
- Ну, а такъ, напримѣръ?
- Объ Эсмеральдъ.
- Да, вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимаеть, а этоть бёдный Квазимодо.
 - Вамъ жаль его?
- -- Очень. Вотъ настоящее несчастіе: быть такимъ человікомъ, котораго нельзя любить. И жаль его, и хотіль бы снять съ него горе, да нельзя этого сділать. Это ужасно! А нельзя, викакъ нельзя, продолжала она въ раздумьй.

Усъвшись за чай, въ ожиданіи возвращенія къ ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александръ Ивановичъ не приходилъ. — Э! Еще слава Богу, что въ самомъ дѣлѣ на свѣтѣ такихъ людей не бываетъ.

— Какихъ? Какъ Квазимодо?

— Да.

— А Овпебыкъ?

Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала разсивилась, но потомъ какъ бы застыдилась своего смѣха и проговорила тихо:

— А вѣдь въ самомъ дѣлѣ!

Она придвинула св'тку и пристатьно стала смотрыть вы огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.

ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

Свиридовы пробыли въ Петербургъ до лъта. Все день за день откладывали за дълами свой отъвздъ. Они уговорили меня тхать съ инми вмъстъ. Вмъстъ мы тхали до нашего уъзднаго города. Тутъ я сълъ на перекладную и повернулъ къ матушкъ, а они уъхали къ себъ, взявъ съ меня слово быть у нихъ черезъ недълю. Александръ Ивановичъ собирался тотчасъ же по прітадъ домой тхать въ Жогово, гдъ у него шла рубка и гдъ резидировалъ теперь Овцебыкъ, а черезъ недълю объщалъ быть дома. У насъменя не ожидали и очень мнъ обрадовались... Я сказалъ, что съ недълю никуда не вытъду; мать вызвала моего двогороднаго брата съ женою, и начались разныя буколическія наслажденія.

Такъ прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двънадцатый, на самой ранцей зоръ, ко мнъ вощла нъ-

сколько встревоженная моя старушка-няня.

— Что такое? — спрашиваю ее.

— Отъ барковскихъ, дружочекъ, къ тебъ, говоритъ, —

прислали.

Вошель двънадцатилътній мальчикъ и, не кланяясь, переложиль раза два изъ руки въ руку свою шляпенку, отканилялся и сказалъ:

- Хозяйка тебф вельла, чтобъ сичасъ къ ней фхаль.
- Здорова Настасья Петровна? спрашиваю.
- Ну, а то что ей.
- А Александръ Иванычъ?
- Хозяина нѣту-ти дома, отвѣчалъ мальчикъ, снова откашливаясь.

- Гдѣ же хозяннъ?

- У Жогови... тамъ, вишь, случай припалъ.

Я велѣлъ осѣдлать себѣ одну изъ матупикиныхъ пристяжпыхъ лошадей и, одѣвшись въ одну минуту, поѣхалъ шибкою рысью въ Барковъ-хуторъ. Было только цять часовъ

утра и дома у насъ всв еще сцали.

Въ домикѣ на хуторѣ, когда я пріѣхалъ туда, всѣ окна, кромѣ комнаты дѣтей и гувернантки, были уже отворены, и въ одномъ окнѣ стояла Настасья Петровна, повязанная большимъ голубымъ фуляромъ. Она растерянно отвѣчала головою на мой поклонъ и, пока я привязывалъ къ коновязи дошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шелъ скорѣе.

— Вотъ напасть-то! — сказала она, встръчая меня на

самомъ порогѣ.

- Что такое?

-- Александръ Ивановичъ третьяго дня, вечеромъ, убхалъ въ Турухтановку, а нынче, въ три часа ночи, изъ Жогова, съ порубки, вотъ какую записку прислалъ съ нарочнымъ.

Она подала мит измятое письмо, которое до того дер-

жала въ своихъ рукахъ.

«Настя! — писалъ Свиридовъ. — Пошли сейчасъ въ М—ъ на телъгъ парой, чтобъ отдали письмо лъкарю и исправнику. Чудакъ-то твой таки надълалъ намъ дълъ. Вчера вечеромъ говорилъ со мной, а нынче передъ полдниками удавился. Пошли кого поумнъе, чтобъ купилъ все въ порядкъ и чтобъ гробъ везли поскоръс. Не то время теперъ, чтобы съ такими дълами возиться. Пожалуйста, поторошись, да растолкуй, кого пошлешь: какъ ему надо обращаться съ письмами-то. Знаешь, теперъ какъ день дорогъ, а тутъ мертвое тъло.

Твой Александръ Свиридовъ».

Черезъ десять минутъ я ѣхалъ крупной рысью къ Жогову. Виляя по различнымъ проселкамъ, я очень скоро потерялъ настоящую дорогу и едва къ сумеркамъ добрался до жоговскаго дѣса, гдѣ шла рубка. Лошадь я совершенно измучилъ и самъ изнемогъ отъ продолжительной верховой ѣзды по жару. Въѣхавъ на поляну, на которой была караульная изба, я увидѣлъ Александра Ивановича. Онъ стоялъ на крыльцѣ въ одномъ жилетъ и держалъ въ рукахъ счеты. Лицо у него было, по обыкновенію, спокойно, но късколько

серьезиве обыкновеннаго. Передъ нимъ стояли человъкъ тридцать мужиковъ. Они были безъ шапокъ, съ заткнутыми за нояса топорами. Ифсколько въ сторонф отъ нихъ стоялъ знакомый мив приказчикъ Орефьичъ, а еще далве — кучеръ Миронка.

Туть же стояла пара выпряженныхъ коренастыхъ лопа-

докъ Александра Ивановича.

Миронка подскочиль ко мив и, взявь мою лошадь, съ веселой улыбкой спазаль:

— Эхъ, какъ унарили!

— Поводи, поводи хорошенько! — крикнуль ему Александръ Ивановичъ, не выпуская счетъ изъ руки.

Такъ, такъ, ребята? – спросилъ онъ, обратясь къ

стоявшимъ передъ нимъ крестьянамъ.

— Должно такъ, Александра Иванычъ, — отозвалось ивсколько голосовъ.

- Ну, и съ Богомъ, коли такъ, отвъчалъ онъ крестьянамъ, протянулъ мив руку и, долго посмотревъ мив въ глаза, сказалъ: — Что, братъ?

— Что?

— Какову штучку-то откололъ?

— Повесился.

— Да; сказниль себя. Ты отъ кого узналь?

Я разсказаль, какъ было.

— Уминца баба, что спосылала за тобою; я, признаться, и не вздумалъ. Да ты еще-то что знасшь? - нонизивъ голось, спросиль Александръ Ивановичь.

— А еще я инчего не знаю. Развъ еще что есть?

- Какъ же! Онъ тутъ, братъ, было такую гармонію изладилъ, что унеси ты мое горе. Поблагодарилъ-было за хлёбъ за соль. Да и вамъ съ Настасьей Истровной спасибо: одра этакого мив навязали.
 - Что же такое? говорю. Сказывай толкомы!

А самому страсть какъ непріятно.

 Писаніе, братецъ, началъ толковать на свои салтыкъ. и, скажу теб'в, ужъ не на честный, а на дурацкій. Про мытаря началь, да про Лазаря убогаго, да воть какъ кому въ иглу пролезть можно, а кому нельзя, и свель все на меня.

— Какъ же онъ оборотилъ на тебя?

- Какъ?.. А такъ, видишь ли, что я въ его расчисле-Сочинентя Н. С. Льскова. Т. XIV.

нін «купець — загребущая лапа» и гречкосвямь надо меня лобанить.

Афло было понятно.

— Ну, а что же гречкосън? — спросилъ я Александра Ивановича, смотравшаго на меня значительнымъ взглядомъ.

Ребята, извѣстно — ничего.

- То-есть на чистоту, что-ли, все вывели?
- Разумбется. Волки! продолжаль Александръ Ивановить съ лукавой усмъшкой. - Все будто не смысля, ему говорять: «это, Василій Петровичь, ты должно въ правиль. Мы теперь какт отца Петра увидимъ, тоже его объ этомъ разспрошаемъ», а мив туть это все больше шутя сказывають, и говорять: «не въ порядкахъ, говорять, все онъ гуторить». И прамо въ глаза при немъ его слова повторяють.

— Ну, что жъ дальше?

- Я, было, это хотыл такъ и спустить, будто тоже но разумью; ну, а теперь, какъ такой гръхъ случился, призываль ихъ нарочно, будто счеты повърить, да стороною имъ загвоздку добрую закинуль, что эти, моль, рычи пустошныя, ихъ надо изъ головы выкинуть и про цихъ крвико молчать.
 - А хорошо, какъ они это соблюдутъ.

— Небось, соблюдуть, со мной не дурачатся. Мы вошли въ избу. На лавкъ у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьянная подушка: столь быль накрыть чистой салфеткой и на немъ весело кинълъ самоваръ.

— Что это ему вздумалось?—проговориль я, уствинись къ столику вмъстъ съ Свиридовымъ.

— Поди жъ ты! Съ больного ума-то въдь чего не вздумаешь. Терпъть я не могу этихъ семинаристовъ.

— Третьягодня вы съ нимъ говорили?

- Говорили. Инчего промежъ васъ не было непріятнаго. Вечеромъ тутъ рабочіе пришли, водкой я ихъ потчиваль, потолковать съ ними, денегь далъ, кому впередъ просили; а онъ туть и улизнулъ. Утромъ его не было, а передъ полденками девчонка какая-то пришла къ рабочимъ: «Смотрите, говорить, воть туть за поляной человыть какой-то удавился». Пошли ребята, а онъ, сердечный, ужь очерствъть. Должно, еще съ вечера повъсился.
 - А больше инчего непріятнаго не было?

- Пичегониеньки.
- Можетъ, ты не сказалъ ли ему чего?
 Еще что выдумай!
- Письма опъ никакого не оставиль?
- Инкакого.
- Въ бумагахъ ты у него не посмотрѣлъ?
- -- Бумать у него, кажется, и не было.
- А все бы несмотрыть, пока полиція не прівхала.
 Ножалуй.
- Что, у него сундучокъ, что ли, былъ?—спросилъ Александръ Ивановичъ у стрянки.

— У покойника-то?-сундучокъ.

Иринесли маленькій незапертый сундучокъ. Открыли его при приказчикъ и стрянкъ. Инчего тутъ не было, кромъ двухъ перемъть бълья, засаленныхъ выписокъ изъ сочиненій Илатона да окровавленнаго посового платка, завернутаго въ бумажку.

- Что это за влатокъ такой? - спресилъ Александръ

Нвановичъ.

— А это, какъ онъ, нокойникъ, руку тутъ при хозяйкъ порубилъ, такъ она ему своимъ илаточкомъ завязала, —отвъчала стряпка. —Тотъ опъ самый и есть, добавила баба, посмотръвъ на платокъ поближе.

Ну, вотъ и все, –проговорилъ Александръ Ивановичъ

- Пойдемъ носмотрать на него.

- Пойдемъ.

Пока Свиридовъ одъвался, я внимательно раземотріль бумажку, въ которой быль завернуть платокъ. Она была совершенно чистая. Я перепустиль листы Илатоновой кингинитув ин мальйшей записочки; есть голько очеркнутым потями міста. Читаю очеркнутое:

«Персы и аоиняне потеряли равновъсіе, одни слишкомъ распространивши права монархін, другіе—простирая слиш-

комъ далеко любовь къ свободь.»

«Вола не поставляють пачальникомъ надъ волами, а чедовъка. Пусть царствуеть геній.»

«Влижайшая къ природъ власть есть власть сильнаго.» «Гдъ безстыдны старики, тамъ юпонии необходимо бу-

дутъ безстыдны.»

«Невозможно быть отлично добрымъ и отлично богатымъ. Почему? Потому что кто пріобр'втаетъ честными и печестпыми способами, тотъ пріобрітаетъ вдвое больше пріобрітающаго одними честными способами, и кто не ділаетъ пожертвованій добру, тотъ мен'ве расходуеть, чізмъ тотъ, кто готовъ на благородным жертвы.»

«Богъ есть мѣра всѣхъ вещей, и мѣра совершеннѣйшая. Чтобы уподобиться Богу, надо быть умѣреннымъ во всемъ,

даже въ желаніяхъ.»

Тутъ есть на пол'в слова, слабо написанныя какимъ-то рыжимъ борщомъ рукой Овцебыка. Съ трудомъ разбираю: «Васька глупець! Зачимъ ты не попъ? Зачимъ ты обръзалъ крылья у слова своего? Не въ ризъ учитель — народу шутъ, себъ поношение, идев---пагубникъ. Я татъ, и что дальше пойду, то больше сворую.»

Я закрыль Овцебыкову книгу.

Александръ Ивановичъ надътъ свой казакинъ, и мы пошли на поляну. Съ поляны повернули вправо и пошли глухимъ сосновымъ боромъ; перешли просъку, отъ которой начиналась рубка, и опять вошли на другую большую поляну. Здъсь стояли два больше стога прошлогодняго съна. Александръ Ивановичъ остановился посреди поляны и, вобравъ въ грудь воздуха, громко крикнулъ: «гопъ! гопъ!» Отвъта не было. Луна ярко освъщала поляну и бросала двъ длинныя тъни отъ стоговъ.

- Гопъ! гопъ!—крикнулъ во второй разъ Александръ Ивановичъ.
 - Гон-на!-отвъчали справа изъ лъса.
- Вотъ гдв! сказать мой спутникъ, и мы пошли вправо. Черезъ десять минутъ Александръ Ивановичъ снова крикнулъ и ему тотчасъ отвъчали, а вслъдъ затъмъ мы увидкли двухъ мужиковъ: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь па свои длинныя палки.

— Здорово, христіане!

— Здравствуй, Ликсандра Иванычь?

— Гдв покойникъ-то?

- Тутотка, Ликсандра Иванычъ.
- Покажите: я не запримътилъ что-то мъста.
- Да вотъ онъ.
- ГдЪ?
- Да воть опъ!

Крестьянинъ усм'яхнулся и показалъ вправо.

Въ трехъ шагахъ отъ насъ висъть Овцебыкъ. Онъ удавился тоненькимъ крестьянскимъ пояскомъ, привязавъ его къ сучку не выше человъческого роста. Кольни у него были поджаты и чуть не доставали до земли. Точно онъ на кольнихъ стоялъ. Руки даже у него, по обыкновению, были заложены въ карманы свитки. Фигура его вся была въ твиц. а на голову, сквозь вытки, падаль бледный свыть луны. Въдная это голова! Теперь она была уже поконна. Косицы на ней торчали такъ же вверхъ, бараньими рогами, а помутивниеся, остолбенълые глаза смотрыли на луну съ тъмъ самымъ выраженіемъ, которое остается въ глазахъ быка. котораго насколько разъ ударили обухомъ по-лбу, а потомъ уже сразу профхали ножомъ но горлу. Въ нихъ нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольнаго мученика. Они не говорили и того, что говорили его платоновскія цитаты и илатокъ съ прасною мъткою.

 Вотъ тебѣ и все: былъ человѣкъ, какъ его и не было, сказалъ Свиридовъ.

— Ему гинть, а вамъ жить, батюнка Ликсандра Иванычь,—проговорилъ старичокъ заискивающимъ, сладенькимъ голоскомъ.

Онъ тоже говорилъ, что ему гнить, а Александрамъ Ивановичамъ жить.

Душно туть было въ этомъ темномъ лісномъ куточкі, избранномъ Овцебыкомъ для конца своихъ мученій. А на ноляні было такъ світло и отрадно. Місяцъ купался въ лазури небесъ, а сосны и ели дремали.

Парижъ.

28-го ноября 1862 года.

КОЛЫВАНСКІЙ МУЖЪ.

(Изъ остзейскихъ наблюденій).

- Иошель по канунь И самь потопуль. -Русск. пословица.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Изъ городовъ алтійскаго нобережья я жилъ четыре сезона въ Ревель, четыре въ окрестностяхъ Риги и три въ Аренсбургь на островъ Эзель. Въ одну изъ моихъ нобывокъ въ Ревель, — номинтся, въ нервый годъ, когда тамъ губернаторствовалъ М. Н. Галкинъ-Врасскій, — я нанялъ себъ домикъ въ аллев «Подъ канитанами». Это въ самомъ Екатериненталъ, близко нарка, близко куналенъ, близко «салона» и не далеко отъ дома губернатора, къ которому я тогда былъ вхожъ.

На двор'в у моихъ дачныхъ хозяевъ стояли три домика,—вс'в небольшіе, деревянные, выкрашенные с'вренькою краскою и очень чисто содержанные. Въ домик'в, выходившемъ на улицу, жила сестра бывшаго петербургскаго генералъ-губернатора, князя Суворова, — престарълая княгиня Горчакова, а двухъэтажный домикъ, выходившій одною стороною на дворъ, а другою — въ садъ, былъ занятъ двуми семействами: бельэтажъ принадлежалъ мив, а нижній этажъ, еще до моего пріёзда, былъ сданъ другимъ жильцамъ, имени которыхъ мив не называли, а сказали просто:

— Туть живуть нѣмки.

Всѣ мы были жильцы тихіе и, что называется, «обстоятельные». Важнѣе всьхъ между нами была, разумѣется, княгиня Варвара Аркадьевна Горчакова, вліятельное значеніе которой было, можеть-быть, даже немножко преувеличено. О ней говорили, будто она «можеть сділать все черезь брата». Она, кажется, знала, что о ней такъ говорять, и не тяготилась этимъ. Впрочемъ, для нікоторыхъ она что-то и ділала. Постоянное занятіе ся состояло въ томъ, что она принимала визиты знатныхъ соотечественниковъ и молилась Богу въ русскомъ соборів. Тамъ тогда діаконствовать нынівший настоятель русской церкви въ Вівні, о. Николаєвскій, который отличался наяществомъ въ священнослуженій и почитался національнымъ борцомъ и «истиннорусскимъ человікомъ», такъ какъ онъ корреспоидирова пъ

въ московскую газету покойнаго Аксакова.

У княгини Горчаковой можно было встрытить всю мыстную и набедную знать, начиная съ М. И. Галкина и Ланскихъ до вице-губернатора Поливанова, котораго це знали, на какое мъсто ставить въ числь «истинно-русскихъ людей». Княгиня также принимала, разумбется, и духовенство, особенно священника Осодора Знаменскаго и діакона Николаевскаго. Въ «фамиліяхъ» у духовенства княгиня имела крестниковъ и фаворитовъ, которымъ она понемножку «благодътельствовала»--впрочемъ, только «малыми» и «срединии» дарами. До настоящихъ, «большихъ», она не доходила и имала, кажется, на то достаточныя причины. Вообще же среди всего, что было въ тотъ годъ знатнаго въ Ревель, киягиня Варвара Аркадьевна имъла самое первос и полетное положение, и ем съренький домикъ ежедневно посвидаел какъ ивмецкими баронами, имввинии основаніе особенно любить и уважать ея брата, такъ и всеми болве или менве достопримвчательными «истинно-русскими людьми».

Всъ здъсь на перебой старались быть искательнъе одинъ другого, но отнюдь не всъ знали, на что имъ это годится и вообще можетъ ли это хоть на что-нибудь годиться.

И домъ, и кругь были прелюбопытные и объщали много

интереса.

Я большую часть своего времени проводиль за столомъ у окна, выходившаго въ садъ, которымъ, по условіямъ найма, имѣли равное право пользоваться жильцы верхняго и нижняго этажей, т.-е. мои семейные и занимавшія нижній этажъ «пѣмки». Но нѣмки, нанявшія квартиру нѣсколько раньше

меня, не хотили признавать нашего права на совмистное меня, не хоткли признавать нашего права на совывстное пользование садомъ; онв все спорили съ хозяйкою и утверждали, что та имъ будто бы объ этомъ ни слова не сказала, и что это не могло быть иначе, потому что онв ни за что бы не согласились жить на такихъ условіяхъ, чтобы ихъ двти должны были пграть въ одномъ саду вмёств съ русскими дътьми.

Споръ возгорълся въ первый же день нашего прибытія въ Ревель, какъ только дѣти сошли въ садъ. Я узналъ объ этомъ сначала черезъ донесеніе прислуги, для которыхъ хозяйскіе контры на самыхъ первыхъ порахъ при занятіц дачи представляли много захватывающаго интереса, а потомъ я самъ услыхалъ распрю въ фазѣ ся нанвысшаго развитія, когда споръ быль перенесень изъ комнать подъ открытое небо. Это было въ полдень. Въ садъ вышли три пъмки: дама высокая, стройная и довольно еще красивая, съ съдыми буклями: дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схожая съ первою, и третья-наша хозяйка, онъмеченная эстонка, громко отстанвавшая права моего семейства на пользование садомъ.

Всв были въ большомъ волнении, - особенно хозяйка и старшая изъ двухъ «нижнихъ дамъ», какъ ихъ называла моя прислуга.

Хозяйка возвышеннымъ голосомъ говорила:

— Я васъ предупреждала... и говорила, что наверху будутъ жильцы, и садъ всъмъ вмъсть.

А старшая дама на все кротко отвічала: «Nein!» и встряхивала буклями и красићла. Младшая дама трогала обћихъ этихъ за руки и упрашивала ихъ «не разбудить малютку».

Сама же эта дама держала за руки двухъ хорошо одътыхъ мальчиковъ, — одного лѣтъ пяти и другого лѣтъ трехъ. Оба они не спали. Значитъ, кромѣ этихъ двухъ дѣтей, было еще третье, которое спало. Можетъ-быть, это слабое и больное дитя. Бѣдная мать такъ за него безнокоится.

Мив стало жаль ее и, чтобы положить конецъ тяжелой сцень, я рышился отказаться отъ сада и кликиулъ домой своихъ племянниковъ.

Дъти вышли, за ними удалилась хозяйка, и садикъ остался въ обладаніи двухъ немокъ. Оне успоконлись, вышли и пов'всили на дверц'в садовой р'вшетки замокъ. Хозяйка при встр'вчт со мною жаловалась на возложеніе

замка, называла это «дерзостью» и совѣтовала миѣ гдѣ-то «требовать свои права». Прислуга совершенно напрасно прозвала обѣихъ дамъ «извительными нѣмками».

Я не поддавался этому злому внушеню и находиль въ объихъ дамахъ много симпатичнаго. Я на нихъ не жаловался, оставался в'яжливъ, спокоенъ и не предъявляль болве на садъ никакихъ требованій. Садикъ оставался постоянно запертымъ, по мы отъ этого не чувствовали ни малениаго лишенія, такъ какъ деревья своими зелеными вершинами прямо лізли въ окна, а роскопиный екатеринентальскій паркъ начинался сейчасъ же у нашего домика.

Нъмки выжили насъ изъ садика не по надобности, а какъ будто больше по какому-то принципу. Впрочемъ, онъ быль имъ нужнъе, чъмъ намъ. Онъ ночги постоянно были въ саду объ и съ двуми дётьми и непремънно запирались на замокъ. Это имъ было не совсемъ ловко делать, надо было перевыпиваться за рыпетку и вдывать замокъ въ пробой съ наружной стороны, но онъ все это выполняли тщательно и аккуратно. Я думаль, что онв опасаются, какъ бы мы не ворвались въ садикъ насильно, и тогда имъ придется насъ выбивать вонъ. При этомъ имъ, въроятно, представлялась война, а судьбы всякой войны неразгаданны, п потому лучие запереться и держаться въ своемъ украпленіи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Такъ это п шло. Побъда была за нъмками и никто не покушался у нихъ ее оспаривать. Дѣти наши были совершенно равнодушны къ маленькому домашнему садику въ виду свободы и простора, которые открываль имъ берегь моря, и только кухарка съ горинчною немножко дулись, такъ какъ онъ разсчитывали на дачь пить кофе въ «присадникъ»; но когда это не удалось, я позаботился усноконть ихъ претензію предоставленіемъ имъ другихъ выгодъ, и дьло уладилось. Притомъ же объ эти дъвушки отличались столь добрыми и незлонамятными сердцами, что удовольствовались возможностью нить свой кофе у раствореннаго окна и не порывались въ садикъ, а я былъ даже доволенъ, что нъмки пикого не нускали въ садъ, гдъ благодаря этому была постоянная тинина, представлявшая значительный удобства для моихъ литературныхъ занятій.

Вставая изъ-за своего рабочаго стола и подходя къ окну,

чтобы нокурить напироску, я всегда видьяь двухъ этихт, дамъ, всегда съ работою въ рукахъ, и около нихъ двухъ изящно одътыхъ мальчиковъ, которыхъ онъ звали «Фридэ» и «Воля». Мальчики играли и пъли «Anku dranku dri-li-dru, seter faber fiber-fu». Мнь это нравилось. Вскоры появился и третій, только недавно еще увидавній свыть малютка. Его вывозили въ хорошую пору дня въ крытой колясочкъ.

Объ женщины жили, повидимому, въ большой дружбъ и въ такомъ полномъ согласіи, что почему-то чувствовалось, какъ будто у нихъ есть какая-то важная тайна, которую

обь онь берегуть и обь за нее боятся.

Образъ жизни ихъ былъ самый тихій и безунречный. ()владъвъ безраздъльно садикомъ при дачъ, онъ имъ одинмъ и довольствовались и не показывались ни на музык, ни въ паркъ. Объ ихъ общественномъ положеніи и не зналь ровно ничего. Прислуга доносила только, что старшая изъ дамь называется «баронесса» и что обв онв такъ горды, что никогда не отвичають на ноклоны и не знають ни одного слова по-русски.

Только одинъ разъ тинина, царствовавшая въ ихъ домѣ, была нарушена посъщениемъ трехъ лицъ, изъ которыхъ первое можно было принять за какое-то явление.

Я первый подстереть, какъ оно насъ осветило,-именно

н не могу подобрать другого слова, какъ освышило.

Хлоппула входная сфрая калитка и въ ней показалось легкое, граціозное и все сіяющее светлое созданіе, молодая, бълокурая дъвушка, съ красивымъ саквояжемъ въ одной рукъ и съ зонтикомъ въ другой. Илатьице на ней было легкое, изъ бледно-голубого ситца, а на головъ простая содоменная шляна съ коричневою лентою и съ широкими полями, отбиявшими ен прелестное полудътское лицо.

Навстрячу ей изъ окна нижняго этажа раздался воз-

гласъ:

- Aurora!

Она отвичала:

-- Tante!

И вдругъ и баронесса, и ея дочь выбъжали къ Аврорф, а Аврора бросилась къ нимъ и, какъ говорится, «не было конна попълуямъ».

Черезъ часъ Аврора и младшая изъ дамъ вышли въ садъ. Опъ долго щебетали и цъловались, — потомъ съли. Аврора

теперь была безь шляны, по въ очень ловко спитомъ платыпцв, а на головъ нивла какой-то розовый колпачокъ, придававший ея легкой и граціозной фигуръ что-то фриrilieroe.

Аврора ласкала даму по головъ и иъсколько разъ принималась целовать ея руки, и называла ее Лина.

Вышедшая къ нимъ въ садъ баронесса обнимала и целовала ихъ объихъ.

Изъ ихъ разговора я понялъ, что Аврора и Лина-кузины. Вечеромъ въ этотъ же день къ инмъ прівхали два почтенные гостя: насторъ и вице-адмиралъ, котораго называли «Onkel». Они оставались недолго и убхали. А вследъ за ними, въ сумерки, пронеслась опять со своимъ саквоя-жемъ Аврора, и ея больше не стало.

Мон дъвушки узнали, что старая баронесса проводила «эту зажигу» на пароходъ, и при этомъ онъ также разель-довали, что «у нъмокъ были крестины», и именно окрестили того малютку, который выважаль вы садь вы своей

ивтской колясочив.

Мив до этого не было никакого дела, и я надвился, что и позже это никогда меня нимало не коснется; но вышло, что я опибался.

Завтра и послъзавтра и въ пфлый рядъ последующих дней у насъ все шло попрежнему: вск наслаждались пре-красными диями ногожаго лъта, два старине мальчика ивли подъ монин окнами «Anku dranku dri-li-dru», а окрещенный пеленанка спалъ въ своей коляскъ, какъ вдругь совершенно неожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набъжавшею съ моря страшною бурсю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Въ одинъ прекрасный день, передъ вечеромъ, когда удлииялись типи деревьевъ и вси дачная публика выбиралась на promenade,—въ калитий нашего свраго дома показался молодой и очень прасивый морской офицеръ. Значительно растрепанный и перепачканный, опъ вошелъ порывисто и сивинною походкою направился прямо въ помвиене, занимаемое ивмками, гдв но этому поводу сейчасъ же обнаружилось пвиоторое двусмысление волнение.

Прежде молодая нъмка прокричала:

- Er ist gekommen... ah!

А потомъ старшая повторила:

- Ah! Er ist gekommen!

И вдругъ объ суетливо забъгали, чего пикогда до сихъ

поръ не дълали.

При открытыхъ окнахъ у меня вверху и у нихъ винзу, на несчастіе, есе было слышно изъ одного пом'єщенія въ другое. Ночами при общей тишинів даже бывало слышно, какъ целенашка иногда плачеть и какъ мать его береть и баюкаеть.

И теперь мий показалось, будто тоже что-то происходило около этого пеленашки. Мий казалось такъ потому, что вслёдъ за возгласами: «Ет ist gekommen!», старшая иймка съ буклями вылетёла въ садъ съ пеленашкою на рукахъ и, прижимая къ себё дитя, тревожно, острымъ взглядомъ смотрёла въ окна своего покинутаго жилища, гдё теперь растрепанный морякъ остался вдвоемъ съ ея дочерью.

Я сообразиль, что, въроятно, пеленашка составляеть неожиданный сюриризъ для гости, находящагося въ какихънибудь особенныхъ отношеніяхъ къ матери и дочери, живущимъ со мною въ сосъдствъ. И вскоръ мои подозрънія

еще увеличились.

Черезъ минуту я увидёлъ, какъ мать вывела въ садикъ старшихъ мальчиковъ и, оставивъ ихъ бабушкё, сказала каждому по наставленію, изъ котораго я уловилъ только:

— Still, Рара,—и сама убъжала.

Бабушка обхватила внучковъ руками, какъ паседка по-

прываеть цыплять крыльями, и тоже внушала:

— Still, Friede, Papa! Er ist gekommen! Still, Walia! Papa! Дѣти слушались бабушку и робко къ ней жались. Каждый изъ нихъ одною ручонкою обхватывалъ ея руку, а въ другой держалъ по повой игрушкѣ.

«Что же это можеть значить?—думалось мнв. Неужто и оба старине мальчики тоже составляють секреть для гостя,

точно такъ же, какъ и маленькій неленашка?»

Насчетъ пеленашки у меня уже утвердилось такое попятіе, что «рыцарь ѣздилъ въ Палестину», а въ это время старая баронесса плохо смотрѣла за своей дочкой, и явился пеленашка, котораго теперь прячутъ при возвращеніи супруга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытіе. Какая у нихъ, должно-быть, тенерь происходить тяжелая сцена! Бѣдный мореходецъ; бѣдная бѣлокурая дама; бѣдная баронесса; бѣдный и гы, малепькій пеленапка! Чтобы быть дальше отъ горя, которому ничѣмъ нельзя пособить, и взялъ въ руки трость, надѣлъ шляпу и ущелъ

къ морю.

Но все, что я сообразиль насчеть причины безпокойства въ нижнемъ семействѣ, было не совсѣмъ такъ, какъ я думалъ. Дѣло было гораздо сложнѣе и посило отчасти политическій или національный характеръ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда я возвращался домой при сгустившихся сумер-кахъ, меня еще за воротами дома встрѣтила моя слу-жанка и въ большомъ волнении разсказала, что приѣхав-иий мужъ молодой нъмки—«страшный варваръ и ужасно бунтуетъ».

- Какъ вы ушли, говорить,—онъ началъ грозно ходить по всёмъ комнатамъ и кричать разным русскій слова, которыхъ повторить невозможно.
- Какъ, говорю, русскія? Да такъ разный слова, самыя обидныя, и все порусски, а потомъ сталъ швырять вещи и стулья и началъ кричать: «вонъ, вонъ изъ дома—вы мнв не по ндраву!» и, наконецъ, прибилъ и жену, и баронессу и, выгнавъ ихъ вонъ изъ квартиры, выкинулъ имъ въ окна подушки, и одъяла, и дътскую колыбель, а самъ со старшими мальчиками заперся и плачеть надъ ними.
 - О чемъ же плачетъ?
 - Не знаю, върно пьянъ напился.
 - Почему же вы такъ обстоятельно все это знаете?
- Шумъ былъ, княгиней его пугали, а онъ и на нес не обращаетъ вниманія, а отъ насъ все слышно: и русскія слова, и какъ онъ ихъ пихнуль за дверь и подушки выкинулъ... Я говорила хозяйкъ, чтобы она послала за полиціей, но онъ, и мать и дочь, говорять «не надо», говорять, «у него это пройдеть», а мив, разумвется, -- не мое пъло.
 - Конечно, не ваше дъло.
- Да и только перепугалась, что убъетъ онъ ихъ, и за нашихъ дътей боялась, чтобы они русскихъ словъ не слы-

хали. А васъ дома нътъ; и давно смотръла васъ, чтобы вы скорве шли, потому что объ дамы съ целенашкой сидить въ моей комнать.

- Зачил же онь у васъ?

— Вы, пожалуйста, не сердитесь: вы видите, на двор'є туманъ, какъ же можно оставаться на ночь въ саду съ груднымъ ребенкомъ!—Вы извините, я не могла.

— Нечего, говорю, — и извиняться: вы прекрасно сды-

.иі.итовіди ехи оти ,ик.в.

— Онъ уже дитя уложили, а сами усълись передъ лам-

почкой и достали вязанье.

«Что за странность!—думаю себв:—этихъ бъдныхъ дамъ только-что вытолкали вонъ изъ ихъ собственнаго жилища, а онъ, какъ будто инчего съ ними и не случалось, присъли въ чужой квартиръ, и сейчасъ за вязанье.»

Я не выдержаль и высказаль это мое удивление діз-

вушкв, а та отвъчаетъ:

- Да, ужъ и не говорите: удивительныя! Этакія слова выслушать и будто какъ инчего... Наша бы русская крышу съ дома скопала.
- Пу, слова, говорю, —еще ничего: онъ нашихъ русскихъ словь не знають.
 - Понимають всв.
 - Вы почему знаете?

— А какъ же я съ ними говорила? Въдь по-русски.

И еще подивился. Такія были твердыя пъмецкія дамы, что ни на одно русское слово не отзывались, а туть вдругь низошель на нихъ даръ нашего языка, и опъ заговорили.

«Такъ, —думаю себѣ, —мы преодолѣемъ и всѣ другія ихъ вредныя дикости и упорства и доведемъ ихъ до той полноты, что онѣ у насъ увѣруютъ и въ чохъ, и въ сонъ, и въ птичій грай, а теперь пока надо хорошенько пріютить изгианницт.»

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Это и было исполнено. Варонесса и ея дочь съ груднымъ младенцемъ ночевали на диванахъ въ моей гостиной, а я тихонько прошелъ къ себъ въ спальню черезъ кухню. Въ началъ ночи пеленашка немножко попищалъ за тонкой стъпою, но мать и бабушка слъдили за его новедениемъ и

тотчаст же его усноконвали. Гораздо больше безнокойства причинять мив его отець, который все ходиль и метался винзу по своей квартирь и хлопаль окнами, то открывая ихъ, то опять закрывая.

Утромъ, когда и всталъ, ивмокъ въ моей квартирв уже не было: онв ушли; но зато ихъ обидчикъ ожидалъ мени въ саду, да еще вивств съ отцомъ Өедорохъ.

Отецъ Оедоръ всёмъ въ Ревель быль изивстенъ какъ самый добродьтельный человыкь и каки трусы: онь и самъ себя всегда рекомендоваль человъкомъ робкимъ.

— Я робокъ, — говорилъ опъ. — Я боюсь, всего боюсь и

— л росокт, —говориль онъ.—л союсь, всего союсь и векть боюсь. Дѣтей крестить—и тѣхъ боюсь: держать ихъ странию, и нокойниковъ боюсь—на нихъ глядѣть странию. Отецъ Федоръ самъ разсказывалъ, что онъ «первый былъ присланъ сюда бороться съ нѣмцами», и «очень бы радъ былъ ихъ всѣхъ нобороть, но не могъ, потому что онъ венят ихъ бонтея».

Робость этого перваго, видвинаго мною «борца» была зам'вчательная, и ее нельзя и не нужно чёмъ-нибудь прі-украшивать; да это и неудобно, потому что на св'ыт еще живы коллеги отца Өедора и множество частныхъ людей, которые хорошо его знали.

Онъ боялся всего на свътъ: неодушевленной природы, всъхъ людей и всъхъ животныхъ и даже насъкомыхъ. И самъ онъ, какъ выше замъчено, надъ этою своею слабостью смѣллся и шутиль, но побороть ее въ себѣ не могъ. Опъ не могъ войти безъ провожатаго въ темную ком-

пату, хотя бы она была ему какъ пельзя болве извъстна; убъгалъ изъ-за стола, если надала соль; замиралъ, если въ комнать появлялись три свъчки; обходиль далеко кругомъ каждую корову, потому что она «можеть боднуть», обходиль пошадь, потому что она «можеть брыкнуть»; обходиль и овну, и свиные, и разсказываль, что все-таки съ нимъ быль разъ такой случай, что свинья остаповилась передъ все-таки у него долго сердце билось. Собакъ, кошекъ, крысъ и мышей онъ боялся еще болье. Онъ быль увъренъ, тто одинъ разъ даже мышь укусила его соннаго за иятку. О собакахъ уже и говорить нечего, а конки представляли въ его глазахъ двойную опасность: во-первыхъ, онъ цара-паются, а потомъ онъ могутъ нережсть сонному горло. И этотъ-то великій трусъ расхаживаль по саду и разговариваль самымъ пріительскимъ образомъ съ драчуномъ, причемъ одинъ только драчунъ обнаруживаль нѣкоторос внутрениес волненіс и обрываль губами листочки съ вѣтки спрени, которую держалъ въ рукѣ, а отецъ Өедоръ даже похохатывалъ и, присѣдая на ходу, хлопалъ себя длинными руками по колѣнамъ.

При одномъ изъ оборотовъ, онъ увидалъ меня у окна и,

совсимь развеселившись, запричаль:

— Пожалунте сюда, къ намъ, поскоръе! Пожалунте! Мы васъ ждемъ.

Драчунъ быль человькъ въ цвътущей поръ; онъ по виду могъ имъть немного за тридцать. Онъ быль съ открытымъ, довольно пріятнымъ и даже, можно сказать, привлекательнымъ русскимъ лицомъ, выражавинимъ присутствие здраваго смысла, добродушной довърчивости и большой теривливости. По общему выраженію большихъ и въ своемъ родь прекрасныхъ темно-карихъ глазъ и всей его физіономіи и движеніямъ головы онъ напоминаль бычка, --молодого, смирнаго и добронравнаго заводскаго бычка. Онъ все потихоньку отматываль головою въ одну сторону, и очевидно могь такъ мотать долго, но потомъ могъ и боднуть, не разбирая, во что попадеть и во что ему самому это обойдется. Тенерь въ большихъ карихъ глазахъ у бычка какъразъ свътилось отражение больной, свъженеренесенной и тяжкой обиды, послъ которой онъ только боднулъ и еще не совстмъ успоконлся. Довольно нолное лицо его то бледнило, то покрывалось краскою гийва, внезапно набъгавшею и разливавшеюся подъ загорълою и огрубъвшею отъ морского вътра кожею.

Все это отчетливо и ясно бросилось мив въ глаза, когда я вошель въ садъ, гдв мени отецъ Өедоръ тотчасъ же

схватиль за руки и, весело смёнсь, закричаль:

— Здравствуйте! здравствуйте!.. Пожалуйте скоръе сюда, сюда... Вотъ вамъ рекомендую — Иванъ Никитичъ Спиачевъ *). Отличный, образованный человъкъ, говоритъ на трехъ языкахъ, и мой духовный сынъ, и музыкантъ, и

^{*)} Пия, отчество и фамилія этого съ натуры воспроизводимаго мною дида въ дъйствительности были иныя. Имена лицъ, которыя будуть выведены далье, я всь замьняю вымышленными названіями въ соотвытственномъ родь.

пъвецъ, и все, что хотите... Ка-ха-ха!.. Любите меня—по-любите и его... Ха-ха-ха!.. Вы думасте, что Иванъ Инин-тичъ буянъ и разбойникъ?.. Ха-ха-ха! Онъ смирный, какъ самый смирный теленокъ.

Миб Иванъ Никитичъ казался бычкомъ, а отецъ Оедоръ его нечиталъ теленечкомъ: разница выходила небольная, и если онъ даже отцу Өедөру кажется не страшнымъ, то уже върно онъ въ самомъ дълъ не страшенъ.

А отенъ Федоръ продолжаетъ свою рекомендацію и го-

воритъ:

- Ивану Пикитичу съ вами надо объясниться... Это не онъ придумать, а я, я. Вы меня за это простите. Онъ растерялся и придумываль Богь знаеть что... Хотыль на себя руки наложить, а я его удержаль. Я говорю: этоть человъкъ мив знакомъ, поидите къ исму и объяснитесь... Онъ-«ин за что!» говорить. «Я такъ себя вель». А я говорю: «Что же теперь ділать! Надо все объяснить... Объяснить съ русской точки эрвнія, а не струляться и не сваливать себи въ гробъ собственною рукою». Иванъ Никитичъ прибъгаетъ сегодня чёмъ-свётъ, будить меня и что говорить... Вы только подумайте, вы подумайте, вы вспомните, что вы мив говорили!—обратился онъ къ офицеру.—Ай-ай-ай! Ай, не хорошо!.. Ай, не хорошо!.. А и утъщать словами никого не умбю... Что, братцы, дблать — не умбю. Отецъ Михаилъ, или отецъ Константинъ—тв умбють, а я не умбю. Я только сказалъ: — Отложи попечение! Все это еще, можеть-быть. обомнется. Такъ это, или нѣтъ?

Офицеръ тихо качнулъ головой п сказалъ:

- Такъ!
- Да, я такъ его оть себя и не пустиль, и воть такъ его сюда и привель, и пусть онъ самъ все разскажеть.
 — Зачімъ же это?—-говорю.
- Пать, отчего же? Ему легче будеть, чтобы о немь не думали дурно. Онъ самъ желаетъ...

Въ это время и самъ морякъ отозвался.

— Да, говорить,—извините: я себя поставиль въ такое недостойное положение, что мић пельзя оставить безъ объясненія то, что я над'влаль. Мив это необходимо... Потребность души... потребность души...

— Вы теперь очень взволнованы, а после можете по-

жалъть.

- Неть, я не буду жалеть. Я, денствительно, взволновань, но жалеть не буду.

— Воть видите! - поддержаль о. Өсдөрь. - Пусть онь всо

говорить, - ему будеть легче.

— Да, мив будеть легче, — подсказаль офицерь и бросиль на скамейку свою фуражку.—Я не хочу, чтобы обомив думали, что я негодяй, и булнь, и оскорбляю женщинь. Довольно того, что это было, и что причины этого я столько лёть такль, снося въ моемъ сердцё; по туть я больше не выдержаль, я не могь выдержать — прорвало. Подло, но надо знать за что. Вы должны выслушать мою повъсть.

Отецъ Өедоръ сблизиль мою руку съ рукой офицера и

подсказалъ:

Да, голубчики,—это повъсть.

Что же мив оставалось двлать? Я, разумвется, согласился слушать оправданіе о томъ, за что были выгнаны воспитанныя и милыя дамы, изъкоторыхъ одна была жена разсказчика, а другая—ся мать, самая внушающая почтеніе старушка.

ГЛАВА ПІЕСТАЯ.

Бычокъ махнулъ головою въ сторону и началъ:

— Вы и всякій имбеть поливійнее право презирать мени послів того, что и надівлать, и если бы я быль на вашемь містів, а въ моей сегодиянней роли подвизался другой, то я, можеть-быть, даже не сталь бы съ нимъ говорить. Что туть ужъ и разсказывать! Человікь ностучиль совсімь какъ мерзавець, но новірьте... (у него задрожало все лицо и грудь) новірьте, я совсімь не мерзавець, и я не быль пьянъ. Да, я морякь, но я вина полюблю, и никогда не нью вина.

Не ньеть, никогда не пьеть, --поддержаль отець Өз-

доръ.

Священникъ ручается. Надо върнть. А опъ опазывается такъ наблюдателенъ, что какъ будто читаеть на лицъ всъ

отраженія мыслей.

Мив это стыдно,—говорить онь:—стыдно взрослому человъку увърять, что я совствиь не нью вина. Въдь я совершениольтий мужчина и морякъ, а не институтка. Отчего бы я и не смълъ пить вино? Но я его дъйствительно не цью, потому что опо мив не правится, мив вст вина

противны. И это, можетъ-быть, темъ хуже, что я быль совершенно трезвъ, когда обидътъ и выгналъ мею жену и тенцу... Да, я быль трезвъ точно такъ же, какъ тенерь, когда и по знаю, какъ мив васъ благодарить за то, что вы дали имъ у себя пріють, пиаче оп'в должны бы были почевать съ дътьми въ наркъ или въ гостинцъ, и теперь объ этомъ моемь тиранства зналь бы уже цаный городъ. Зтвеь выдь клинить силетия. Подняли бы такой вой... «Русскій офицерь какъ обращается съ своею женою! Л!ужикъ, невѣжа. Женился на баронессь». И все это правда: я русскій офицерь, и действительно, если вамъ угодно, но образованию я мужных въ сравнения съ моею женою, особенно съ ел матерыю; но, въдь, онь объ знали, что я русскій человісь, воспитывался въ морскомь училищі на казепный счеть, но по-французски и по-ивмецки я, однако, говорю, и благодаря родительскимъ заботамъ кое-что знаю, но надъ общимъ уровнемъ я, конечно, не возвышаюсь и имью свои привазапности. Я какимъ себя предъявляль имъ, таковъ я и есть, такъ и живу. Я ин въ чемъ ихъ не обмануль, ин жену, ни всеми уважаемую мою тещу, между тыт какъ она сдълали изъ моей семьи мей позоръ и терзаніе.

Всякій, услынавъ то, что я говорю, въроятно подумаль бы, что, конечно, моя жена мий не върна, что она намъняеть своимъ супружескимъ обътамъ; но это пенравда. Моя жена прелестная, добрая женщина и относится ко всёмъ своимъ семейнымъ обязанностямъ чрезвычайно добросовъстно и строго. Въ этомъ отношены я счастянвъй великаго множества женатыхъ смертныхъ; по у меня есть горе хуже этого, большъе.

— Да, гораздо хуже! вздохнуль отець Оедорь.—Бельивс. Я педоумываль: что же можеть быть «хуже этого и большве».

А мореходъ продолжалъ:

— Изміна тяжела, но се можно простить. Трудно, но можно. Женщины же намъ прошають наши изміны, отчего же и мы имъ простить не можемъ? Я знаю, что па этогь счеть говорять, но відь это предразсудокъ. «Чужое дитя!» Ну и что же такое? Ну и некорми чужое дитя. Відь это не грізхъ, а мы відь считаємъ, что мы умите и справедливіте женщинъ, и во всіхъ отношеніяхъ ихъ совершенить.

Покорми! И если женщина увлеклась и потомъ сожальетъ о своемъ увлеченін, прости ес и не обличай. Она можеть перемьниться и исправиться. Тоже и онь въдь недаромъ живуть на свыть и пріобрытають опытъ. Я такихъ убъжденій, и я чувствую, что я все это могь бы исполнить, но этого въ моей жизни нътъ. Этимъ я не наказанъ; но то, что я переношу и что уже два раза перенесъ, да въроятно и третій перенесу — этому нътъ сравненія, потому что это уязвляеть меня въ самый корень. Это поражаєть меня до нѣдръ моего духа; это убивало моего отца и мать, отторгало меня оть самыхъ священныхъ узъ съ моею родней, съ моимъ народомъ. Это, наконецъ, дѣлаетъ меня смѣшнымъ и жалкимъ шутомъ, которому тычутъ въ носъ шиши. Однако, я и это сносилъ, но когда это повторяется безъ конца—этого спесть невозможно.

— Извините, говорю, — я не понимаю въ чемъ дело.

— Я поясню. У меня быль отець старикъ и уважаемый старикъ. Онъ жилъ въ своемъ имѣньицѣ въ калукской губерніи и матушка тоже достойная всякаго уваженія: они жили мирно, покойно и ихъ уважали. Я у нихъ одинъ, единственный сынъ. Есть сестра, но она далеко, замужемъ за докторомъ-нѣмцемъ, на Амурѣ. У нея уже другая фамилія, а мужского покольнія только одинъ и есть — это я. Дядюшка въ Москвѣ, отцовъ братъ, старый холостякъ, весь въкъ все славянской археологіей занимался и забылъ жениться. И отецъ мой, и мать, разумѣется, были насквозь русскіе люди, а о московскомъ дядѣ ужъ и говорить нечего. Онъ съ Кирьевскими, съ Аксаковыми—со всѣми знакомъ. Словомъ, все самые настоящіе родовитые и истинно русскіе люди, а изъ меня выніла какая-то «игра природы». Моя жизнь—это какой-то глупый романъ. Но это говорить надо по пунктамъ.

— II прекрасно!—воскликнулъ отецъ Өедоръ:—теперь я вижу, что вы разговоритесь и дѣло будетъ хорошо, а я

уйду-мн'в есть дівло.

Мы его не удерживали и остались вдвоемъ въ бесѣдкѣ изъ купы сирсни.

Разсказчикъ продолжалъ свою страстную и странцую повъсть.

— Это мой третій бракъ—на Лині N. Первый разь я быль женать въ Москвів, по общему семейному избранію,

на «дівний наъ благословеннаго дома». Это должно было принести мий большое счастіе. Мий тогда было 24 года, а сй 26 літь. Она была краспва и порочна, какъ будто она была настоящая тереминца, искусившаяся во всіхъ видахъ скрытности. Одниъ годъ жизни съ нею — это была цілая эпонея, которой я разсказывать не стану. Кончилось тімь, что она понала во что не мітила, и я ее увиділь однажды въ литерной ложі, въ которую она пойхала съ родственною намъ киягиней Марьей Алексівеной. Я хотіль войти, а киягиня говоритъ: «Это пельзя, —твоя жена тамъ не одна». — Это что?! «Это, говоритъ, этикетъ». Я илюнулъ и сейчасъ же ушель изъ дома и хотіль застрівлиться, нли кого-то застрівлить. Такое было возбужденіе! Я вамъ говорилъ, какъ я тершимо отношусь къ ошибъкамъ женщины; но это тамъ, гдів есть увлеченіс, а не тамъ, гдів еть, гдів не было этикета. Я ударился въ противный дагерь, гдів не было этикета. Яменно—противный! Въ душів

моей клокотала иснависть, и я попаль къ ненавистникамъ. По-моему, они были не то, за что слыли. Впрочемъ, я дёль съ ними не падёлаль, а два года изъ своей жизпи за нихъ вычеркичль. Жена изъ «благословеннаго семейства» въ это время жила за границею и проигралась въ рулетку. Вследъ затемъ дифтеритъ и ся печальный конецъ, а мое освобожденіе. Я никакъ ис могу уйти отъ внутренняго чувства, которое говоритъ мив, что эти два событія находились въ какой-то причинной связи. Я мчался куда-то,—чортъ меня знаетъ куда, и съ разбъга нопалъ въ «общежите», гдв одна барышня, представлявшая изъ себя помъсь нигилистки и жандарма, отхватала меня въ два пріема такъ, что я опять ни къ чорту. Сначала опа прозвала меня для чегото псевдонимомъ «Левель-вдовецъ», а потомъ «во имя принцина» потребовала, чтобы я вступилъ съ нею въ фиктивный бракть для того, чтобы она могла жить свободно съ кыт захочеть. Я имыть честь всю эту глупость продылать, а она исполняла то, что жила какъ хотъла, но требовала съ меня иоловину моего жалованья, котораго мит самому на себя недоставало. Я вооружился противъ такой неожиданности. Она явилась къ начальству, — меня призвали, пристыдили и обязали давать. Я чувствовалъ униженю сверхъ мъры и, дождавшись вечера, взялъ пистолетъ и понислъ онять къ частоколу у Таврическаго сада. Мит почему-то казалось, что я непременно тами должени застреинться, чтобы унасть въ канаву. Я и уналъ въ канаву, но
только съ такой раной, отъ которой скоро поправился. Мой
строгій начальники быль троднымь. «Здёсь, въ Истербурге, скверный воздухи,—сказали опъ.—Побижайте дамой.
Подумайте тами общими семейными судоми, каки вами
облегчить свою участь». Я прібхали ки отцу и ки матери,
по что же я ими моги разсказать? Разви они, добрые почещики и славяне, могли попять, что такое и надылаль?
Дяди при конци отпуска я, однако, все открыми. Они говорить:

- Очень скверно; но постой, мив одна мысль прихс-

дитт. Тебф отъ этой курпосой надо куда-нибудь уйти.

Опъ подиялся изъ-за своего инсьменнаго стела, ноходилъ взадъ и внередъ по комнать въ своемъ синемъ инслковомъ халать, подноясанномъ краснымъ, мужичымъ ку-

шакомъ, и сталъ соображать:

— Есть какая-то морская служба въ Ревель. Тамъ тенерь живеть баронесса Генріэтта Васильевна. У себя въ
Москвъ мы ее звали Венигретой. Она замъчательно умиам,
очень образованная и очень добрая женщина, съ прямымъ
и честнымъ характеромъ. Я ее зналъ, когда она еще была
воснитательницею и безъ всякихъ интригъ пользовалась
большимъ ижсомъ, но не злоунотребляла этимъ, а напротивъ—дълала много добра. Она должна быть и тамъ, въ
своей сторонъ съ большими связими. Иъмцы въдь исегда
со связями, а Венигрета Васильевна въ свое время много
своихъ пъщевъ вывела. У нея непремънно должны быть и
иъ вашемъ въдомствъ люди ей обязанные. Я ей паниву,
и знаю какъ нанишу совершенно откровенно и правду.

Я говорю: всего-то лучше не шишите, -- совъстно.

- Нттъ, отчего же?

- Да что ужъ такую глупость безъ нужды разсказывать!

— А-а, пѣтъ, ты этого не говори. «Быль молодпу пе укоръ», а нѣмки вѣдь, братецъ, сентиментальны и на всѣхъ ступеняхъ развитія сохраняють чувствительность. Онѣ любять о чемъ-инбудь повздыхатъ и взъахаться! Аh Gott! Аh Herr Jesu! Аh Нітте! Вотъ до этого-то и падо возогрѣть Венигрету! Тогда дѣло и пойдетъ, а безъ этого имъ неновадно.

Написалъ дядя въ Ревель баронессъ Венигреть, и вразъ дней черезъ десять оттуда инсьмо и самое задушевное и удачное, и какъ разъ начинается со словъ: «Ah, mein Gott!... Пишеть: «какъ я была потрясена и взволнована, читая письмо ваше, уважаемый другь. Відный вы, біздный молодой человікь, и еще сто разь боліве достойны сожалівня его несчастные родители! Какъ я о нахъ сожалью. Schreckliche Geschichte! Я думала, что такія исторін только сочиняють. Въдный вашъ илемянникъ! Я прочитала ваше письмо сама, а потомъ мъстами прочитала его моей дочери Линъ и илемянниць Апрорь, которую мать прислала ко мнъ изъ Курляндін для того, чтобы я прошла съ нею высшій курст, англійскаго языка и вообще закончила образованіе, полученное ею въ наисіонъ. Понятно, что я передала дъвочкамъ только то, что можеть быть доступно ихъ юным и понятіямъ объ ужасныхъ характерахъ тёхъ русскихъ женщигь, которыя утратили жаръ въ сердцё и любовь къ Всевыниему. Въдния дъти были глубоко тронуты страданіями вашего молодого Вертера и отнеслись ко всему этому каждая сообразно своимъ наклоиностямъ и характерамъ. Дочь моя Лина, которой теперь семнадцать лътъ, тихо плакала и сказала: «Ав, mein Gott! Я бы не пожальла себя, чтобы спасти жизнь и счастіе этому несчастному молодому человѣку»; а малень-кам Аврора, которой еще иѣтъ и шестнадцати лѣтъ, но которая хороша какъ ангелъ на Каульбаховской фрескв, вся исполнилась гибвомъ и, насупивъ свои прямыя брови, замьтила: «А я бы гораздо больше хотьла наказать такихъ женщигь своимъ примъромъ». У вашего претерпъвшаго юнони здъсь тенерь есть друзья,—не одна я, старуха, а еще два молодыя существа, которыя его очень жалбють, и когда онь будеть съ нами, - оне своимъ чистымъ участіемъ помогутъ ему если не забыть, то съ достоинствомь теривтъ муки отъ ранъ, изнесенныхъ грубыми и безчеловъчными руками его сердцу».

Это такъ именно было паписано. Я привожу вамъ это нисьмо хотя и на намять, по совершенно дословно, какъ будто я его сейчасъ читаю. Оно было нолучено мною вътакой моменть моей жизни, когда я былъ въ нухъ и прахъ разбитъ и растрепанъ, и эти тенлыя, умныя и полныя участія строки баронессы Венигреты были для меня какъ посланіе съ неба. Я уже не добивался того, есть ли какая-

нибудь возможность устранить меня отъ Истербурга и убрать въ спокойный Ревель; но меня теперь оживило и согрѣло одно сознаніе, что есть гдѣ-то такая милая и добрая, образованная пожилая женщина и при ней такія прекрасныя дѣвушки. Съ направленскими дамами, съ которыми я обращался, въ мей душѣ угасло чувство ютливости,—меня уже даже не тянуло къ женщинѣ, а теперь вдругъ во мнѣ онять различось чувство благодарности и чувство пріязни, которыя панили меня къ какой-то сладостной нокорности всѣмъ этимъ существамъ, молодымъ особенно. А между тѣмъ, въ письмѣ баронессы было полное удовлетвореніе и на главный, на самый существенный вопросъ для моего спасенія отъ скандализовавшихъ меня въ Истербургѣ нападокъ. Она извѣщала, что просила за меня своего брата, барона Андрея Васильевича Z., начальствующаго надъ извѣстною частью морского вѣдомства въ Ревелѣ, и что я непремѣнно получу здѣсь мѣсто. А вслѣдъ затѣмъ послѣдовалъ надлежащій служебный запросъ и состоялся мой переводъ.

глава седьмая.

— Я, разумѣется, быль такъ радъ, что себя не номниль отъ радости, и сейчасъ же навалялъ баронессѣ Венигретѣ самое нельное благодарственное письмо, полное разной чувствительной ченухи, которой вскорѣ же послѣ отправленя письма мнѣ самому стало стыдно. Но въ Ревелѣ это письмо понравилось. Баронесса отвѣтнла мнѣ въ иѣжномъ, почти материнскомъ тонѣ, и въ ел конвертѣ оказалась иллюминованная карточка, на которой, среди гирлянды цвѣтовъ, два бѣлые голубка или, быть-можетъ, двѣ голубки держали въ розовыхъ клювахъ голубую ленту съ подписью: «Willkommen». Дѣтское это было что-то такое, точно пли меня привѣчали, какъ дитя, или это было отъ дѣтей: «Милому Вапѣ отъ Лины и Авроры». Надписано это не было, по такъ мнѣ чувствовалось. Я былъ увѣрепъ, что этотъ листочекъ всунули въ конвертикъ или ручки мечтательной Лины, или маленькая лапка энергической и гнѣвной Авроры, которая хочетъ всѣмъ примѣръ задатъ. И я унесъ этотъ листокъ въ свою комнату, ноцѣловалъ его и положилъ въ бумажникъ, который всегда носилъ у своего сердца. Во мнѣ не только шевелилась, но уже жила

самая поэтическая и дружественная расположенность къ объить дъвупикамъ. Я ожидать и даже пачаль мечтать, хотя очень хорошо зналь, что мий мечтать не о чемъ, что для меня все кончено, нотому что я ногубиль свою жизнь и мий остается только заботиться о томъ, чтобы избъгать дрянныхъ скандаловъ и какъ-нибудь легче влачить свое существованіе.

Словомъ, и сюда рвался и летвлъ, и не зная лично ин баронессу, ин дівиць, уже любиль ихъ отъ всего сердца и быль въ увъренности, что могу броситься въ ихъ обънгія, обинмать ихъ кольни и цьловать ихъ руки. А пока я только общималь и цьловаль дидю, который устроиль мив это со-

серыенное благополучіе.

Но родители мон, къ которымъ я вернулся, чтобы проститься, отнеслись къ этому холодиве и съ предосторожностями, которыя мив казались даже обидными. Они меня все предостерегали. Отець говориль:

— Это хорошо, —я ни слова не возражаю. Между ивмцани есть даже очень честные и хороние люди, но все-таки

они нъмцы.

— Да ужъ это, говорю, -- конечно, какъ водится.

— Петь, но мы обсзыны, -- мы очень любить нодражать. Вотъ и скверность.

- Но если хорошему?

— Хоть и хорошему. Всномии «Любущинт судт». Не хорошо, коли искать правду въ нѣмцахъ. У насъ правда по завону святу, которую принесли наши дѣды черезъ три phan.

— Пынио, говорю, — это какъ-то чрезъ мѣру.
— Да, это нышно, а у нихъ, у нѣмцевъ, хорона экономія и опрятность. Въ старину тоже было довольно и справедливости: въ Берлинѣ разъ судъ въ пользу простого
мельника противъ короля рѣшилъ. Очень справедливо, но все-таки они и вицы и нашего брата русака любятъ передыльвать. Вогь ты и смотри, чтобы никакъ падъ собою этого не допустить.

— Да съ какой же, говорю,—стати!
— Нѣтъ, это бываетъ. У нихъ система, или, пожалуй, даже двъ системы и чертовская выдумка. Ты это помни и въру отцовъ уважай. Живи, хлъбъ-соль води, и даже пожалуй дружи, во всякомъ случать будь благодарсив, потому

что «ласковое телятко двв матки сосеть», и кеблагодарный человысь—это не человысь, а какая-то скверность, по нохаживай почаще къ священнику и эту суть-то свою,—нашу-то настоящую русскую суть не позволяй изъ себя пъщамъ выкуривать.

— Да ужъ за это, говорю, — будьте поконны, — и привель ему шутя слова Тургенева, что «пашей русской сути изъ

насъ инчымъ не выкуришь».

А отецъ поморщился:

- Твой Тургеневъ-то, говоритъ, самъ, братець, сападпикъ. Онъ ужъ и сознался, что съ тъхъ поръ, какъ окунулся въ нъмецкое море, такъ своей сути и лишился.
- Да и Некрасовъ тоже,—хотълъ-было я иродолжать, го ири этомъ имени отецъ меня перебилъ и погрозился.
- Этого, говорить, ужъ и совсёмъ не трожь, этотъ чего еще пенадежнье. Самъ и зудъ зудить, самъ и расчесъ расчесываеть, и взмань манить, и казнить велить: самъ просить «виновныхъ не щади!» Пітъ, намъ надо чистыя руки... Воть какъ Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы воть съ кого намъ надо примъръ брать. Самаринъ-то -вкаь онъ быль въ этомъ, въ ихъ Колыванскомъ краю, но опи, небось, его не завертели. Думали завертеть, да онъ имъ шишъ показалъ. И ты будь таковъ же. Дружба друкбой и служба службой, а за пазухой шишъ. Помни это и чаще къ духовенству похаживай и мив инии. Я тебв буду отвічать и укрімлять тебя въ направленін, а по воскресеньямъ непременно къ священнику похаживай. Какол вы есть цопъ - онъ не тугь, такъ тамъ, не въ деркви, такъ за широгомъ, а все патріотическое слово скажеть. А проватомъ черезъ Москву появись Аксакову. Скажи, что я тебъ говориль, и послушай, что онь еще тебе скажеть. Онь му-!nimara arang

Матушка паказала только въ Москвѣ у Иверской покроинться.

— А за прочее, — сказала она, —я за тебя ужъ не боюсьты уже такъ себя погубиль, что теперь тебя оть женицинь предостерегать нечего: самая хитрая измка тебя больше спутать не можеть; по объ опрятности ихъ говорять много лишняго: я ихъ тоже знаю, —у насъ акушерка была Катерина Христофоровна; бывало, въ которомь тазу осенью ва-

ренье варить, къ томъ же сама цёлый годъ воротнички подениньесть.

Дяди новель меня въ Москва къ Аксакову.

-- Нелья, говорить, — безъ этого. А когда стапешь съ шимъ разговаривать, то помии, какого ты роду и племени, и пускай что-инбудь отъ глаголовъ. Сипачевы, братецъ, издавна били стояльцы, а тенерь и гы уже созръль—и давай понимать, что отправляенься для борьбы.

Я, вризнаться, совсёмь этого не думаль, но промолчаль и быль представлень Аксакову, который, узнавь о моей

«миссіи», долго смотрълъ мив въ глаза и сказалъ:

И ствуйте и сразу утверждайтесь твердой иятой. Мы должны быть хозяевами на Кольнанскомъ побережьи. Рессень—вёдь это наша старая Кольнаны!

И даля тоже вспомниль про «Колывань». Когда мы «ше-

ствовали» отъ Аксакова домой, диди меня поучаль:

— Если встратинь добрый привать въ колыванскомо семействъ (такъ именоваль опъ семью Венигреты), будь имъ благодаренъ, по не увлекайся до безразсудства, дабы не опутить въ себв изманы русскимъ обычалмъ. Лучше старайся самъ получить влиніе на инхъ.

Я чувствоваль, какъ будто все это что-то фаньшивос. Какая Колывань? Какая ися тамъ «миссія»? На кого я могъ вліять и кому стану показывать «иншь», когда я самъ какая-то чортова кукла и нуждаюсь въ спасенін бъгствомъ!

Быле въ этомъ во всемъ даже ивчто детски-эгонстическое: инкакого вниманія къ душевному состоянію человіка, а только—евой вкуст и баста! Можно было думать, что и этимъ, какъ и другимъ. до личного счастья человіка ивтъ никакого діла!

Все, къ чему и самъ стремился, заключалось именно только въ томъ, чтобы свобедно вздохнуть и оправиться. На это были настроены всѣ мон номыслы, въ этомъ на мой взглядъ сестонал вси моя «миссія» на Колыванскомъ морѣ. Но тѣмъ болье и спѣнилъ на эту Колывань, къ своимъ колыванскимъ «друзьямъ», и дѣйствительно встрѣтилъ друзей предестныхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Варопесса Венигрета Васильевна жила въ своемъ домикъ въ иовой части города. Она была небогата. Мужъ, котораго

она но веймъ вироятностимъ очень любила, умеръ очень рано и ничего ей не оставилъ, кромъ честнаго пмени и дочки Лины. Варонесса была красавица и отлично образована, что, впрочемъ, не редкость между женщинами изъ остзейской аристократін,—даже и въ захудалыхъ родахъ. Благодаря этому образованію, а также, конечно, хорошимъ связямъ. Венигрета Васильевна попала въ воспитательницы. Она окончила свое дело съ честію и пять леть передъ этимъ отпущена съ пенсіею, которой ей было довольно на то, чтобы жить съ дочерью въ своемъ городки безбидно. Она имела полную возможность остаться и въ Истербурге, но свыть ей прискучиль, и она предпочла возвратиться подъ свой отчій кровъ, гдв у нихъ еще была жива бабушка. Смешного въ баронессе не было ровно ничего: напротивъ, она всегда была препочтенная и всемъ внушала къ себе уваженіе. Прозвать ее «Венигретой» могло только нашо русское пустосывшество.

Домикъ, гдѣ жила семья баропессы, быль небольшой, но прехорошенькій, съ флигелькомъ въ три комнаты, гдѣ жила бабушка, которую и я засталь еще въ живыхъ, и при домъ прелестивйшій садикъ. Словомъ, настоящее жилище честной

Когда я сюда первый разъ пришель, мив показалось, что я вступиль въ рай и встретиль ангеловь. О баронессе печего и говорить: вы и теперь еще видите, какая это женщина,—она всёмъ внушаетъ почтеніе. И она его стоить и больше того стоить. Лина... вы тоже видите... Ангель. Кузина Аврора—эта вся блескъ и ароматъ; даже старая бабушка, которой тогда было восемьдесять явть, и та была очарованіе: беленькая, чистенькая и воплощенная доброта. Приняли оне меня—я хотель бы сказать: какъ родные, но я никогда не видать, чтобы у насъ самые лучшіе родные умёли такъ принять человёка, такъ тихо и просто, а въ то же время ласково и деликатно.

Я туть и привился. Меня пригласили приходить всякій день, и я это буквально исполняль. Прекрасный, тихій и всегда пріятный образь жизни «колыванскаго семейства» охватиль меня со всею душою. Мы сошлись во всёхъ вкусахъ. Я любиль домашнюю жизнь—и оністоже. Я любиль литературу—оніс, кажется, еще боліс. Не было образованнаго языка, который имъ быль бы педоступень. Я немножко

музыканть, а онв всв аргистки. Лина съ матерыю пгради въ четыре руки на фортеніано, я на флейтв, а Аврора на скринкт. Да, эта миніатюрная фея пграла на скринкт твердо и сильно, какъ бравый скриначъ въ оркестръ. Кромт того, объ дъвушки запимались живописью на матеріи и на фарфорт, и произведенія ихъ въ обоихъ этихъ родахъ были такъ замъчательны, что ихъ нокупали за границу. Было къмъ и чъмъ залюбоваться и не скучать домосъдствомъ, а даже забывать свое горе. Мой здъщий начальникъ, братъ баронессы, баронъ Андрей Васильичъ, тоже былъ ихъ ежедневный гость и очень одобрялъ установившуюся у насъ дружбу. Онъ былъ гернгутеръ и чудакъ, по человъкъ глубокой честности и благородства. Терпъть не могъ кутежей и разгула и очень утъщался мониъ поведеніемъ.

— Что можеть быть этого лучше, — говориль онь, — какт встрыть утро молитвою къ Богу, днемъ послужить царю, а вечеръ провести въ образованномъ и честномъ семейномъ домь. Васъ, мой юный другъ, сюда привелъ Божій перстъ, а я всегда радъ это видыть и позаботиться о такомъ благо-

правномъ молодомъ человъкъ.

Я ужъ не знаю, было ли сму извъстно все, что я натвориль до этого времени, но онъ быль ко мнѣ неимовърно милостивъ и дъйствительно нозаботился обо миѣ, какъ никто изъ русскихъ, а баронесса и вообще все женское покольніе знали всв мои бъдствія. И это ихъ престранно занимало, особенно баронессу, которая имѣла общія понятія о тогдашнихъ нашихъ русскихъ «сѣяціяхъ и вѣяніяхъ», но интересовалась подробностями. Опа, впрочемъ, и вообще любила говорить о правахъ, причемъ обнаруживала удивительную и привлекательную терпимость, свойственную телько большому уму, доброму сердцу и большой опытности. Такъ, напримъръ, поговоривъ разъ со мною наединѣ о тѣхъ и другихъ «дикостяхъ», она умолкла, потомъ сложила въ корзинку свою работу и, подиявшись съ мѣста, сказала съ какимъ-то возвышеннымъ чувствомъ:

— Да! Снаси Боже насъ отъ нихъ, по снаси и ихъ отъ насъ. Они ужасны, а мы слишкомъ мало двлаемъ, или ничего не двлаемъ для того, чтобы они стали иными.

И вскочилъ и поцъловалъ ся руку, а она ноцъловала меня въ голову и добавила:

Да будетъ прощенъ и пощаженъ и отъ въка наказанный.

Я попяль ся религіозное настроеніе и отв'ятиль: — Аминь.

Пъ бесвдамъ такого рода мы возвращались, бывало, не разъ. Часто, какъ усядемся у ламиы, онв съ работою, а и начну читать для нихъ французскую или нвмецкую книжку, такъ разговоръ незамѣтно оиять и свернемъ на эти ∢ужасныя сердца и противиые вкусы». И смотришь — оиять и уже, какъ опый венеціанскій мавръ, разсказываю что-то, а онв слушаютъ, бабунка тихопько посвистываетъ носомъ и синтъ, баронесса слушаетъ и изрѣдка покачиваетъ головою, а дѣвушки опустятъ руки съ работой и смотрить въ глаза миѣ: Лина съ списходительнымъ состраданіемъ, а

Аврора съ затаеннымъ гиввомъ.

Такъ мы достигли одного вечера ранней весною, когда «наша бабушка» одниъ разъ, по обыкновенію, уснула въ своемъ кресть и болье не проснулась. Мы ее хоронили очень для меня намятнымъ образомъ. Можеть ли чтонибудь правиться въ погребальномъ обрядв? Одни только русскіе репортеры иншутъ про «красивые» гроба и «прекрасиыя» похороны; однако, обычай, какъ хоронили бабушку, и мив ноправился. Старушка лежала въ бъломъ гробъ и вокругъ пел не было ин пустоты, ин сусты, ин бормотанья: днемь было свётло, а вечеромъ на столё горели обыкновенных свёчи, въ обыкновенныхъ подсвёчникахъ, а вокругъ были разставлены старинныя желтым кресла, на которыхъ сидели свои и посторонніе и вели виолголось тихую бесьду о ней, — припоминали ся жизнь, ся хорошіс честные поступки, о которыхъ у вскув оказались восномипанія. Она любила, была несчастинва, - мужъ ся, французскій выходець, быль ревнивець, моть и игрокь, онь ее бросаль и опять находиль, когда ему не за кого было, кром'в нея, взяться, и вдругь оказался женатымъ, раньше ея, на нольке изъ Илоцка. Когда эта жена явилась съ темъ, чтобы донести на него, — его ударилъ параличъ, бабушка сейчасъ же отдала претепдентки свое иминьице въ Курляндін и осталась при разбитомъ и была его ангеломъ, а нотомъ удивительно воспитала сына Андрея и дочерен-Гепріэтту и Августу, которая была матерыю кузины Авроры и жила за Митавой.

Этоть разсказь такъ расположиль слушателей къ лежавпей во гробь бабушкь, что многіе поперемьню вставали и подходили, чтобы посмотръть ей въ лицо. И какъ это было уже вечеромъ, когда всв сидввшіе здвсь сторонніе люди удалились, то вскорв остались только мы вдвоемъ—я и Лина. Но и намъ пора было выйти къ баронессв, и я всталь и подошель ко гробу старушки съ одной стороны, а Липа—съ другой. Оба мы долго смотрвли въ тихое лицо усоншей, потомъ оба разомъ взглянули другь на друга и оба вразъ произнесли:

-- Какон благородный характеры

Съ этимъ я протянулъ свою руку, чтобы коснуться руки доброй старунки, и вздрогнулъ: рука моя возлъ самой руки мертвой бабушки прикоснулась и скала руку Липы, а въ это же самое мгновение тихий голосъ изъ глубины комнаты произнесъ:

— Тоть же самый характерь есть у живой Липы.

Мы отлянулись и увидали Аврору, которая сидёла за трельяжемъ, гдв мы ее ранве не замётили.

Это не быль поводь сконфузиться, но и я, и Лина-оба

сконфузились.

Лина отошла и тихо сказала:

- Другъ мой Аврора, къ несчастью-это не такъ.

А Аврора сп отвъчала:

— Ивть, другь мой Лина, для меня-это такъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Послв этого происшествія у гроба я не спаль цівлую почь, и съ этого случая меня не оставляло чувство необъяснимой и страшной тревоги. Бабушка была схоронена, а я, по приглашенію баронессы и по совіту барона Андрея Васильевича, перешель жить во флигель старушки. Баронь говориль:

— Это персть Вожій! (Онъ везді виділь персть Божій). Вы должны быть какт сынь и какть брать у ваших до-

стойныхъ друзей.

- О, я очень радъ, отвичаль я.

— Да, да; я върю, что вы ихъ любите.

— Люнечно, баронъ: онв показали мив такъ мпого добра.

— Прекрасно, прекрасно! Вы благородный молодой человыкь, — сказаль мны баронь н, пожавь мою руку, тихованлакаль оть умиленія.

Я поселился и сталь жить еще ближе къ нимъ и со-

вебыт слился душою съ этими женщинами. Меня пригла-шали прівхать повидаться въ Москву и въ калужскую гу-бернію, — я не бхаль и чувствоваль, что это не надо. Стануть разспранивать, а я не хотбять, чтобы меня раз-спранивали и какт-нибудь называли ихъ шутливо или обидно-снисходительно. Я даже мучился, когда въ полу-чаемых посьмахъ отца были напоминанія: смотрёть, — не чаемыхъ письмахъ отца были напоминанія: смотрѣть, — не онѣмечиться съ нѣмками. «Держи ухо востро. Дружи, а камень за пазухой носи, — чтобы шиниъ взяли». Все это меня мучило и казалось мнѣ напрасно, педеликатно и нечестно. Какъ я могъ говорить или слушать о нихъ чтонибудь, кромѣ похвалъ и восторговъ? Я никогда и во всю мою жизнь не жилъ такъ мирно и хорошо, какъ теперь. Всегдащий миръ, всегдащияя цѣломудренная простота, доведенная до предѣловъ въ нашемъ обществѣ невѣроятныхъ. Моя краптира — это былъ рай и я занатъ я де могъ ныхъ. Моя квартира—это былъ рай, и я зналъ, я пе могъ не знать, что эти букеты цвътовъ на столъ перемънлетъ не толстая эстонка-служанка, съ которою я могъ говоритъ только одно слово «еймуста», т. е. «не понимаю». Мое бълье— и то было осмотръно, и это меня сначала мучило. Обльс — и то обло осмотрено, и это меня сначала мучило. Я не могь спросить и не могь пе догадываться, что за этимъ смотрятъ такія образованныя женщины, которыя въ другой средв гнушались бы подобными занятіями, нашли бы ихъ съ своимъ положенісмъ несовивстными,

нашли бы ихъ съ своимъ положеніемъ несовмѣстными, даже, пожалуй, шокирующими и унизительными. Англійская литература, поэзія, классическая музыка, живопись на фарфорѣ—и мон полотенца! По у нихъ все это мирилось вмѣстѣ. Лѣто проходило. Аврора ѣздила къ матери въ Курляндію и возвратилась. Мы се нетериѣливо ждали и разучили ко встрѣчѣ ея новый вальсъ ПІопена. Аврора пріѣхала нѣсколькими диями раньше, чѣмъ обѣщала, но нимало не поправилась, а даже какъ будто похудѣла и нмѣла видъ «грозный». Мы такъ надъ нею піутили, и она піутила и улыбалась, по потомъ черезъ минуту ея очаровательное дѣтское лицо онять становилось «грозно». Она стала какъ будто уединяться, и осенью, когда уже съ деревьевъ сыпались листья, пе позволяла снять качель и своего гамака, въ которомъ она всегда любила лежать и качаться какъ индіяпка. На участливые вопросы Лины, отчего она стала держать себя нѣсколько странио, Аврора долго пе отвѣ-

чала, а потомъ одинъ разъ сказала:

- Пе спрашивай меня: у меня есть предчувствія.

- Kaura?

— Axt, воть ты какт любопытна! Я боюсь, что дождь повредиль инпурки моего гамака, и онъ оборвется.

И она съ этимъ такъ сильно повернулась въ гамакѣ, что выпала изъ него на землю и до слезъ больно подвих-

пула себв погу.

Это произвело въ дом'в тревогу, и мы цфлыя сутки клали ледъ въ больной пог'в Авроры; а черезъ ифсколько двей она стала ходить съ налочкой, иричемъ въ ея фигурф и походк в обиаружилось чрезвычайно большое сходство съ поъейной бабушкой. Оно было такъ велико, что сначала исъъ насъ удивило и заставило улыбаться, а потомъ по-кальнось и поразительнымъ.

— Вотъ видинь, -- говорила Аврорѣ Лина: -- не я, а ты

будень похожа на бабушку.

— Да, я похожа, по только паружно, а ты внутренно: у тебя прекрасное сердце, а у меня—злое. Ты въстинкъ жизни и свободы, я—въстинкъ емерти и неволи. Я деспотъ.

Липа и и раземъялись, Аврора же продолжала быть веселою, и въ самый этотъ день, дъйствительно, сдълалась

«въстинкомъ смерти».

Я викогда не вабуду этого важивінаго дия въ мосй дизви. Опъ быль день свежій и ясный. Солице ярко обливало свениъ сверканьемъ деревья, на полуобнаженныхъ вытвихъ которыхъ слабо качались пожелтівнийе и озолотившісся аистья, въ гроздахъ красной рябины тяжело шевелились ожирівніе дрозды. Варонессы и Лины не было дома, служанка работала на кухив, Аврора качалась съ книгою въ рукахъ въ своемъ гамаків, а я составляль служебный отчеть въ своей комнатів. Ради прекраснаго дия, скна въ садъ у меня были открыты.

Спльно ванятый вычисленіями, я слышаль среди работы, что какъ будго стукнуль молотокъ у запертой входной двери, а потомъ какъ будто мимо оконъ промелькнула стройная фигурка Авроры. Я подумаль, что, въроятно, некому отмереть двери, и Аврора сама поина это сдълать. Конечно, было бы въжливье, если бы я ее предупредиль, но мив было пекогда, я сводилъ сложное вычисленіе, и

сейчаст же опить из него погрузился.

Одиако, мив въ этоть разъ не сущдено было кончить

мою работу, потому что въ окно ко мий влетило и прямо упало на столъ письмо въ траурномъ конверти, съ очень разкими и, какъ мий показалось, чрезмирно-широкими чер-имми каймами по краммъ и крестъ-на-кресть. Я вздрогнулъ и взелянулъ въ окно, — отъ него тихо и

молча отходила Аврора.

«Въстинкъ смерти!» промелькнули у меня въ памяти ея слова.

Женщины, которая такъ предательски меня обманула и опошлила мою жизнь, не было больше на свъть. Моя жена опонилила мою жизик, не облю облыше на свътк. Мой жена умерла такъ же гадко и скандалезно, какъ жила. О ед смерти меня извъщала сд сестра, шедшал съ нею ивкогда тъмъ же безпорядочнымъ путемъ, но болъе ловко воснользовавшался случаемъ, чтобы свернуть на торную дорогу приличій. Я съ нею едва былъ знакомъ, но зналъ, что она притворщица и лицемърка. Какъ всъ неискреније люди, желающіе казаться не тъмъ, что они есть на самомъ дълъ, что опи стъ на самомъ дълъ, что опъ стъ на самомъ дътъ, что опъ стъ на самомъ на съ на с она пересаливала и была песносна въ своемъ новомъ направленін точно такъ же, какъ была противна въ преж-пемъ. Отъ этого, можетъ-быть, и трауръ на ея конвертъ былъ слишкомъ жиренъ для обозначенія горя. Извъстительное письмо посило ть же следы пеумеренности: опа писала, что ея сестра «добела себя до крайних» положений и сама прекратила свою жизнь безтренетною рукою». Затымы по описаніе самаго этого происшествія и ботомъ выраженіе участія ко миж: «Вы свободны, и да благословить васъ Богь большимъ счастіемъ, чемъ вы имели».

Я, какъ гоголевскій городничій, могъ тоже сказать: «Боже благослови, а я не виновать». Но какъ бы тамъ ни было, и свободенъ, во второй разъ свободенъ, и теперь я уже умью цвинть свободу и ее не процыганю.

И первая мысль, которая явилась въ моей голов'я всл'ядь за сознаніемъ моей свободы, была мысль о томъ, какъ я долженъ повести себя съ этимъ изв'ястіемъ передъ «колыванскимъ семействомъ».

Спрывать это отъ нихъ я бы по хотълъ, по мив казалось неловко и сообщать объ этомъ барэнессь. Печаль въ моемъ лиць была пеумъстиа, равнодушіе — глуно, а радость — противна. Другое дело девицы: оне молоды, и я съ вими короче.

Аврора проходила съ кингою со своего гамака. Я ее позваль. Она остановилась.

- Но поставьте себь въ трудъ пробъкать это письмо. Она посмотрела на листокъ и не приняла его, а спросила:

- Въ чемъ ліло?

Я неловко и заствичнее сообщиль ей повость. Аврора выслушала со такъ спокойно, какъ будто она это знала, и отошла, не сказавъ мив ин одного слова. Непосредственно затыть она вошла въ домъ и черезъ минуту оттуда, изъ залы, послышались трудныя упражненія на скрипкв. За ними служанть не слыхать было, какъ снова ударилъ дверной молотокъ. Я ношелъ и открылъ двери.

Это возвратилась баропесса и Липа. У Лины развязалась и унала одна изъ сл покунокъ. Я ее подиялъ и сталь завязывать. Варонесса тыть временемь вонна въ домъ, а

мы остались вдвоемь на дворь.

Стоя на одномъ кольнь и на другомъ обвязывая развязавинійся узель, я почти безотчетно досталь изъ кармана полученное инсьмо и сказаль: «Пожалуйста прочтите», а самъ опять опустные глаза къ узлу и, когда подпыль ихъ, то увидаль, что за минуту передъ этимъ свъжее и спо-койное лицо Лины было нокрыто слезами.

Опа посившио сунула мив назадъ письмо, восиликнула: «Gott! O. Gott!» п скрылась въ домв. Аврора тенерь стояла у окна, и я вильлъ ся бълую, маленькую руку и тонків нальцы, красиво державшіе смычокъ, выводившій фугу.

ТЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Я инкогда по желаль инкому зла. Да; никому, и потому пе желаль и смерти моей мучительниць, и не ожидаль, что это случится. Еще болье я считаль бы за отвратительную гадость мечтать о свободь, нока эта женщина была жива; но «выдь воля дорога и итичкы», а тымь болье молодому человъку, какимъ я былъ тогда, семь лътъ тому назадъ. Я чувствоваль, что у меня онять есть перыя въ прыльяхъ, есть шансь на долю счастья въ жизни, по мив было страппо, что вывств съ этимъ оживляющимъ меня сознанісмъ я чувствоваль мертвящую немощь передъ твиъ, что мнв падо объявить свою повость баропессв.

Какъ? въ какихъ выраженія я ей скажу это? Я ее такъ уважаль и такъ дорожиль ел мивніемь, что

не могь придумать, кажимы образомы это выразить такъ, чтобы не вышло ни пепристойной радости, ни пеумъстнаго и притворнаго сокрушенія. Но я падъ этимы напрасно домалы голову: мий вовсе и не пришлось говорить объ этомы баронессь; но у меня также и не оставалось мъста ни для подозрѣнія, что она этого не знаеть, ни для недоумѣнія, какъ она къ этому относится.

За столомъ у насъ былъ такой обычай, что прежде, чъмъ състь на свои мъста, всв становились на минуту за своими стульими и брались руками за ихъ спинки. Баронесса на короткое миновение поникала головою. Всв мы знали, что она въ это миновение произпосила мысленно короткую молитву. Лина тоже слъдовала примъру матери. Я и Аврора не наклопились. Это никого не раздражало и не обижало. Здъсь попимали, что върить и не върить—это не во власти человъка, и о върв не спорпли, а прямую искрепность умъли уважать выше притворства. Потомъ Лина симмала крышку съ суповой вазы, и мы садились, а баронесса начинала намъ раздавать палитыя ея рукою тарелки.

Нынче это произошло не такъ. Послѣ того, какъ баропесса нагнула въ молчанін свою голову, она ее подняла и, не отодыная, по обыкновенію, своего стула, взглянула

вверхъ и произнесла вслухъ:

- Прости всбуть и убъли ихъ грбуи Твоею кровію. Липа сказала «Аминь», и онт вст — мать, дочь и Ав-

рора-взглянули на меня и същ.

Объдъ прошелъ своимъ чередомъ. Я все попятъ. Порою мив думалось: зачъмъ опъ, протестантки, молились за умерниую? Потомъ мив подумалось, что это опъ молились и за меня, и за другихъ, «за всъхъ». Мив припомнились первые дли и первые разговоры въ этомъ дорогомъ мив колыванскомъ семействъ, и тогданий вздохъ баропессы и ен слова: «Спаси пасъ отъ пихъ, по и ихъ спаси отъ пасъ, потому что и мы слишкомъ мало дълаемъ, или пичего но дълаемъ».

Какая гармонія чувствъ и опущеній! Какая во всемь этомъ деликатность и грація, и тенлота, и ширь, и свобода! Кто могь бы устоять противъ тихаго, по неодолимаго обаянія этого круга, исполвеннаго благодати! Конечно, не я. Если бы я въ ту пору, весмотря на мою молодость, въ двадцать-иять лѣть не быль уже правстьеннымъ калькою,

съ изломанной и исковорканной прошедшею жизнью, —я бы, конечно, запесся мечтами и, можетъ-быть, возмииль бы себя въ правв претендовать на болбе твспое сближение съ этимъ семействомъ. Но Провидвиие дало мив каплю разсудка к каплю честности; и зналъ всю раздвлиющую насъ бездиу, и попималь ихъ недосягаемую для меня чистоту и свою омраченность. Что бы тамь им заговориль за меня какойнибудь софизмъ, я все-таки быль виновать, я иугался въ недостойныхъ исторіяхъ, водился съ безиравственными людьми и, волей-неволей, ко мив все-таки прилипла грязь моего прошедшаго. Я зналъ, что я ни о чемъ не смъю ду-мать, и что мнъ пътъ, да и не нужно поправки; но тъмъ не менъе я вспомпилъ теперь, что я здъсь не кръпокъ, что я тутъ чужой, что эти прекрасныя, достойныя дъвушки непремънно вайдутъ себъ достойныхъ мужей, и нашъ теперешній милый кружокъ разлетится, и я останусь одинъ...

«Здравствуй, одинокая старосты Догорай, безполезная

жизнь!»

Окопчивъ об'єдь, я подощель къ баропессі, чтобы по-благодарить ее, и, цілуя ея руку, тихо сказаль ей: — Не прогоняйте меня никогда отъ себя!

Она мив отввчала руконожатіемъ. Что же дальше скажу? Дальше случилось именно то, с чемь я не сийть и думать, какъ о высшемъ и никогда для меня недосигаемомъ счастьи. Следующей весной я быль мужемъ Лины—счастливейниямъ и недостойнымъ мужемъ самой святой и самой высокой женщины, какую Богъ посладъ на землю, чтобы осчастливить лучшаго человъка. И это Божіе благословеніе выпало на мою горькую долю... и и... я... его теперь утратиль, какъ перазум-ный звірь, или какъ каторжникъ. Я не могу жить... ж должень себи убить... И но могу... Но я вамъ доскажу все, чтобы вы знали, что я наділаль и что во мні происходить.

Возвращаюсь къ порядку.

ГЛАВА ОДИШНАДЦАТАЯ.

Все это произошло радвијемъ кузины Авроры, въ которой, Богъ ее знаетъ, какое бјенје пульса и какое кровообращение. Глядя на нее, иногда можно зафантазироваться надъ теоріями метансихоза и подумать, что вы ней живеть душа какой-то тевтобургской векии. Прыть туда, прыть сюда! Ей все инпочемь. У насъ такъ долго живуть въ общения съ немцами и такъ мало знають характеры пвмецкихъ женщинъ. То ссть, я говорю, знаютъ только одну зауряднесть. У этой же все горить: одна рука строить, другая-ломаеть, а первая уже опять возводить что-то ганово. Ходитъ по залу со своею скринкою и все фуги и фути... Всъмъ падобла! Случилась надобность ее о чемъто спросить. Вхожу и спрашиволо. Видитъ-и ин слова не отвычаеть: пдеть прямо, прямо на меня, какъ лунатикъ, и вырабатываеть свою фугу. Пришлось то же самое во второй разь-и опять результать тоть же самый. Зато въ третій разь ивито совстыь особенное: шла, шла, играла, вела фугу, и вдругь у самаго мосто уха струна хлонъ и завизжала по грифу.

- Лоппуло теривніе! говорю.

— Да! отвычаеть.—Погда же вы, наконець, соберетесь?

- YTO?

Сдалать Липь предложеніе!

- Л?! двлать предложеніе!! Лин'в!!!

— Да, я думаю, — вы, а не я, и никто другой за васъ.

- Да вы вспомните, что вы это говорите!

-- О, я все помию и все знаю.

— Газвь я смыо думать... развь я стою винманія Лины!

- Говоря по совъсти, какъ надо между друзьями, копечно, истъ, по... произопла роковая неосторожность: мы, сентиментальныя ивмки, мы иногда бываемъ излишне чувствительны къ человъческому несчастію... Если вы честный человых, въ чемъ я не сомиввансь, вы должны убхать изъ этого города, или... я видь вамъ не нозволю, чтобы Лина страдала. Она васъ любитъ и поэтому вы ед стоиту. А я васъ спрашиваю: когда вы хотите убхать?

-- Никогла!

— Въ такомъ случаћ... Лина!

— Бога ради! Дайте время!.. Дайте полумать!

- Лина! Лина! - позвала она еще громче.

- А-а? - отозвался изъ сосъщей гостиной голосъ Личы.

-- Иди скоръй, или я разобью мою скринку.

Вонна, какъ всегда, милая, красивая и спокойная Лика.

- Этоть госполнив просить твоей руки.

И, повернувнись на каблучкъ, Аврора добавила:

— Извини за неожиданность, но изъ долгаго раздумья тоже инчего лучшаго бы не вышло. Я иду въ Танte!

- Липа!-проиненталъ я, оставишев вдвоемъ.

Она на меня взглянула и остановилась.

— Развъ я смъю... развъ могу...

Она тихо ответнаа:

— Да.

Черезт недъло Аврора убхала къ матери въ Курляндію. Мы вев передъ баропессой молчали. Пакопецъ, Липасама взялась сказать, что между пами было объясненіе. Я пепременно ждаль, что мив откажутъ, и вследъ затемъ придется убираться, какъ говорятъ рижскіе раскольники, «къ себъ въ Москву, подъ толстые звоиы». Вышло совсыть не то. Мы съ баропессой гуляли вдвоемъ, и она мивсказала:

 — Я не противъ избранія Лины, хотя я не совсёмъ ему рада. Вы не знасте почему?

— Знаю. Мое произое...

— Совећић ићтъ. Это слинкомъ глупо и жестоко тянуть за человъкомъ весь въкъ его оппоки, по... вы русскій...

— Вы такъ теонимы, баронесса!.. Такъ долго жили въ Россіи.

— Да, это я.

— А Липа тъмъ болъе.

— Hbть — вы??

— Я — все, что вы хотите!

Просите благословенія у вашихъ родителей.
 Я попросилъ.

Туть и загудьян изъ Москвы «толстые ввоны».

ГЛАВА ДВЪПАДЦАТАЯ.

Матуника сокрушалась. Она находила, что я уже два раза Богъ въсть что съ собою надълать, а теперь еще пимка. Она не будеть почтительна. По отець и дядя радовались, — только съ какой стороны! Они паходили, что изини стали всь очень верченыя, — такія затъйницы, что никакого ноком съ ними пътъ, и притомъ очень требовательны, и такъ дорого стоятъ, что мужу остается для ихъ угожденія либо красть, либо взятки брать.

«Итмин лучие», возвъщалъ отцу дядя изъ Москвы въ

Калуту и привель прим'єры «оть пимхъ родовъ», такихъ же «столновыхъ», какъ и нашъ родъ Сипачевыхъ. Успокоили отецъ съ дядею и матушку, что «прики хозяйственны п для заводу добры». Такъ все это мив и было изъясиено въ пространныхъ отпискахъ съ изъясненіемь, кто что думаль, и что сказаль, и чемь одинь другого пересилиль. Матушка, кажется, больше всего была тымъ утышена, что онь «для заводу добры», но отець браль примеры и «отъ больших в родовь, гдв много ведомо съ немками браковъ и все хорошія жены, п между поэтами и писателями тоже многіс, которые судьбу свою съ нѣмецкою женщиною связали, получили весь нужный для правильной дъгельности нокой души и на избраніе свое ве жаловались». Пизводилось это до самыхъ столновъ славяпофильства. Стало-быть, мит и Богь простить. Отецъ писаль: «Это твое дело. Теоб жить съ женою, а не намъ, ты и выбирай. Дай только Богь счастія и пе изміняй вірів отцовъ твояхъ, а намъ желательно, наконецъ, имътъ внука Инкитку. Помии, что имя Никиты въ нашемъ спиачевскомъ роду инкогда прекращаться не должно, а если нервая случится дочь, го она должна быть, въ честь бабушки, Мароа». Я, разуменся, обрадовался и говорю баронессь, что отець и мать согласны. Опа захотвла видеть инсьмо, и я подаль это инсьмо баронессъ, а она Линъ. Лина покрасивла, а уважаемоя баронесса не сдълала никакого замъчания. Я ихъ обиять в расцъловалъ: «Друзья мон! говорю:—истинно ивть лучию, какъ ивмецкія женщины». И я, двйствительно, тогда такъ думаль—и женился. Жена монмъ старикамъ письма панисала по-русски. Живемъ прекрасно; Москва и Калуга спокопны и рады, —только все освъдомляются: «въ походъ зъ Инкитка?» Наконецъ напророчили Я иншу: «Янна, кажется, чувствуеть себя не одною».

Сейчась же и дядя, и отець сразу съ объихъ колоколенъ зазвонили: «Благословеніе пепраздной и имущей во чревь; да разверзеть ся ложесна отрокъ», и проч., и проч. У дяди всегда все выходило такъ хорошо и выспренно, какъ будто опъ Аксакову въ газсту передовицу пишеть, а отецъ во быль такъ литературенъ и на живчака прихватываль: «Только смотри—доставь мив Пикитку!.. Или развъ на самомъ крайнемъ случав прощается на одапъ разъ Мароа». Болъе жо одного раза не прощалось.

Матунка мало умела инсать; лучше всего она внушала: «Вереги жену—время тяготно», а отеңъ съ дядею съ этихъ поръ повили жарить про Инкигу. Дядя даже прислалъ серебриный ковинить, изъ чего Писиту понть. А отецъ все будго сны видить, какъ къ нему въ садъ вскочить отъ пъмецкой коровки русскій теленочекъ, а онъ его будго поманиль: тирюсй-гирюсй,—а теленочекъ ему дітскимъ языкомъ отвічаеть: «я че тирусй-гируся, а я Пикигушка, світъ Икановичь по изотчеству, Сипачекъ по прозванію».

Сдалася этотъ Инкита Пвановичъ Синачевъ моимъ правственнымъ или долговымъ обязательствомъ, котораго мив инкакъ избыть пельзя. Итакъ, зачел мои что-те заводское, и я заводский, и паша любовь и счастливый бракъ нашъвее это разсматривается, оценивается только съ илеменной.

ваводской точки врвийя.

— «Пикитка! Пикитка!»—«Подай Никитку!» — «Въ походь ли Пикитка! Да что же это, паконень, за редственная глупость и даже упижающее безстыдство! Пу, а если ивть и не будеть «въ походь» не голько Пикиты, а даже и Мароы, то что же тогда? Пержго объ этомъ пликать, что ли, али считать это за иссласто и укорыть Липу, какъ это бывало у евреевъ ветхаго завъга и у русской знаги московскаго періода? По, къ счастно, мит было чего ожидать, и раздражение на своихъ было напрасно. Только очень они съ этимъ льнутъ. Отепъ иншетъ, что мать теперь все молится Спорушинць «объ имущей во чревь». Писали, что въ поминанье Ляна у вихъ за здравіе записана Катериной, потому что Каролину священиий находить пеудобнымъ поминать, такъ какъ это имя пеправо-славное. Яниа — «еретица». Давали мив совъть «паклонять жену къ върв можхъ отцовъ», но надъялись, что «когда будеть Инкигунка, то она, въроятно, и сама пойметь. что эго неизовано. Когда же онъ родится и станемъ его крестить, то чтобы поиз крестиль его непремвино настоящимъ троскратнымъ погружениемъ въ купели, а не облилъ съ блюдечка, какъ будто канарейку». Мать же навыщала, что она инетъ Пакитъ распашоночки и дъласть исленки изъ старенькаго, чтобы ему не різало рубцами тільне поль шейкой в поль мышечками.

Словомъ, покой мой замутился съ этимъ Никитою. И чёмъ дальше, темъ ссе неотступите.

Пришли и распашонки, и пеленочки, а отъ дади изъ Москвы старинный серебряный крестъ съ четырьма жемчужинами, а отъ отца повыя наставленія. Пишетъ: «Когда же придетъ уреченное время — поставь къ купели выъсто меня стоять дьячка или понамаря. Опи, каковы бы пи были, — все-таки върные русскіе люди, ибо ничьмъ и быть не способны».

Все въдь это надо какъ-пибудь выполнить, а здъсь такіе прісмы не приняты. Пепремъпно придется что-пибудь лгать старикамъ, а и ихъ такъ люблю и пикогда ихъ не обманывалъ.

Ожиданіе Никиты стало меня первировать и мучить. Зачімь они черезчурь все это раздувають и о чемь хло-почуть? Все ділалось бы само собою песравненно спокойнье и дучше, если бы они не гнали такой сусты и горячки. Істо родится, того бы и окрестили, и назвали бы Инкитою или Мареой, а то я уже сталь тревожиться: какъ въ самомъ ділів это будеть? Пли, можеть-быть, и совсімь пичего не будеть,—такъ пройдеть?

Высказался даже въ этомъ духѣ тещѣ. Баропесса, вязавшая въ это время одъяльце, покачала головою и, тихо улыбнувшись, отвъчала:

- Ивть, это такъ не проходить. А они напрасно такъ много безнокоятся, и ты сталь безнокоень. Тебъ бы нока дучне пробхаться.
 - Куда же, говорю, -- п какъ мий теперь отлучаться?
- Отчего же? Эго даже хорошо. Еще числа Лины дажеко, а и попрошу баропа—онъ теб'в дастъ командировку. Проважайся. Числа далеко.

И я получиль командировку, и въ самомъ дёлё радъ быль пробхаться. Вёдь «числа далеко», а Янну оставить съ нёжно-любящею ее матерью пимало не страшно. Да и мой безпокойный видъ и первозность, по словамъ баронессы, даже нехорошо вліяли на настроеніе духа жены, а ей въ ея положеніи пужно спокойствіе.

А заботы родныхъ все не упимаются: передъ самымъ монмъ отъвздомъ дядя пишетъ, что онъ намвренъ заввщать свой домъ, въ переуляв близъ Арбата, Инкитв, а отецъ пишетъ, что «все наше припадлежитъ тебв и сыну твоему, перьенцу Инкитв Иванычу Спиачеву».

Я убхаль въ командировку на особомъ катеръ.

Преврасно! Море, свободная стихія, маяви, занасы, повірни знавовъ, посе это меня развлекло и заняло; по портъвовьми, путь только я удалился отъ своего берега, въ мосії душі вдругь зародилось какос-то безнокойство, что я обманутъ, что со мной сыграли какую-то штуку, что я выгнанъ изъ дома парочно, какъ какой-то дурачокъ, и вообще со мною пграють какую-то комедію.

Кге?., Кто могь со мною играть комедію? Исужто мол милая, предациал жена, иом кроткая, п'крная Липа? Или меужто моя тенца, баропесса, просв'ященная, истипно честная и всёми уважаемая женщина, сочувствующая всему высокому и презирающая все педостойное истипнаго благородства?.. Невозможно! Не в'врю нав'ятамъ коварнымъ.

А какой-то чорть шепчеть на ухо: «Э, милый другь, песе на сибтв возможно. Стерив, англійскій великій юмористь, больше тебя попималь, и опъ сказаль: «Тоиt est possible dans la nature»—все возможно въ природів. И русская пословица говорить: «Изъ одного человіка идсть и горячій лухъ, и холодивій». Всіз твои доманнія дімы въ своємь родів прелестиви существа и достойны твоєго ночтенія, и другія ихъ тоже не папрасно уважають, а въ чемъмоўть такомъ, въ чемъ опіз пикому уступить не хотять,— и овіз не уступять, и опіз по-своєму обработають.

Засыпаю подъ илащомъ на палубів и вижу фигуры ба-

Засынаю подъ илащомъ на налубів и вижу фигуры баронессы и Анны на берегу, какъ онів меня провожали и махали мив своими планками. Анна илакала. Она нав'врно и теперь иногда плачеть, а и все-таки представляю себів, будто и нахожусь въ воложенія сказочнаго нари Салтана, а моя теща Венигрета Васильевна— «сватья баба Бабариха», и что она вепремінно сліжнеть мив странное вло: Никитку мосто изпедеть, какъ Бабариха извела Гвидона, а меня чімьвибудь на псю жизнь одурачить.

Идемъ подъ севжимъ вытеркомъ, катерокъ крепится и бортомъ захватываетъ, а я чи на что вниманія не обранцаю и въ груди у меня слезы. Въ душь самыя теплыя чувства, а на умъ какая-то галость, булто отинмаютъ у меня чтото самое драгоцънное, самое родное. И чуть я позабудусь, сейчасъ въ умъ голкутся стихи: «А ткачиха съ новарихой, съ сватьей бабоя Бабарихон». «Родила царица въ ночь не то сына, не то дочь, пе мышонка, не лягушку, а невъдома

звірушку». Я зарыдаль во спв. «Никита, мой милый! Никитушка! Что съ гобою ділають!»

Боиманъ меня разбудилъ.

— Вы, говоригъ,—ваше благородіе, ужасно колобродите и руками брылявитесы Перекреститесь.

Я перекрестился и успокоился.

Въ самомъ дъль, что за глупость: ведь и не царь Салтапъ, и Никитушка по Гвидонъ Салтановить; не посадятъ

же его съ матерью въ бочку и пе бросять въ море!

Такъ и странствую въ такомъ душевномъ расположения оть одного берегового нункта къ другому, водворяю порядки и снабжаю людей продовольствіемъ. И вдругь на одномъ изъ дальнихъ островковъ получаю дененту: «совершенно благополучно родился сынъ,—sebr kräftiger Knabe». Всв тревоги мянули: такимъ именно kräftiger Knabe и должень быль появиться Никита! «Sehr kraftiger». Молодецы! Знай пашихъ комаринскихъ!

Сами можете себь вообразить, какъ и носль извъстія о рожденін сыпа петеривливо кончаль свои визиты къ остальнымъ маякамъ, и съ какимъ чувствомъ черезъ двв недвли выскочиль съ катера на родной берегь этого города, гда

меня ждали жена и ребенокъ.

На самой пристапи матросъ передаеть приказапіе моего пачальника явиться къ нему прямо сію минуту.

Досадио, а дълать печего: Ъду.

Добрейшій баронь Андрей Васильевичь прямо заключаеть меня въ свои объятія, смотрить на меня своими ласковыми синими глазами и, пожимая руки, говорить:

— Иу, поздравляю, молодой отець, поздравляю! Извипите, что я васъ задержалъ и не пустилъ примо домой, но это исобходимо. Лина еще слаба, въдь она немнежко обсчиталась числомъ, но зато Фриде-славный мальчикъ.

Л сначала не поняль, что такоо. Какой Фридеl
— Кто это, говорю, — Фриде?

— А этотъ вашть славный мальчикъ! Мы его вчера окрестили и все думали: какое ему дать имя, чтобы оно поправилось...

Я перебилъ:

- И какъ же, говорю,—вы его назвали?
 Готфридъ, мой милый, Готфридъ! Это всемъ намъ поправилось, и насторъ назвалъ его Готфридъ.

- Пасторъ!-закричаль я.

- Да, конечно, насторъ, панть добрый и ученый насторъ. Я парочно нозваль его. Я другого не хотель, нотому что это выдь онъ, который открыль, что надо перепесть двоеточіе послів слова: «Глась воність въ пустыць: приготовьте нуть Богу». Старое чтеніе не годится.

— Позвольте, говорю, — по въдь я его задушу монми

руками!

- Kore pro?

— Этого насторы!

- За то, что онъ перенесъ двоеточіе?

- Ифтъ, за то, что онъ смълъ окрестить моего сына! Варонъ выразилъ лицомъ поливнисе недоумвије.

— Какъ зачемъ окрестилъ сына? Какъ душить нашего

пастора? Развѣ можно не крестить?

— Его должень быль престить русскій священникь!

- Аl., Я этого не зналь, пе зналь. Я думаль, вы такъ хотите! По въдь лютеране очень хорошіе христіане.

— Все это върпо, по и самъ русскій, и мон родиме русскіе, и діти мон должны припадлежать къ русской вырв.

— Не зналь, не зналь!

- Зачемъ же мон семейные, жена, теща не подождали моего возвращенія?

- Не знаю, судьба, перстъ...
 Какал, ваше превосходительство, судьба! Судьба вотъ была въ чемъ, воть чего хотели все мои русские родиые! Разсказаль ему все и прибавиль:
- Вотъ какова должна была быть пастоящая судьба, и имя, и въра этого ребенка, а тенерь все это выверичли вонъ. Я этого не могу спесть.

— Въ такомъ случав вы здёсь прежде успокойтесь.

- Печвиъ мив усновонться! Эго останется навсегда, что у меня первый сынь-пъмень.

— По въдь измин также хороние люди.

— Хорошіе, да я-то этого не ожидаль.

— А перстъ Божій показаль.

Иу, что еще съ инмъ говориты! Бъгу домой.

Отворила сама теща, -- какт всегда, въ букляхъ, въ ченцъ и въ кожаномъ поясъ, во всемъ своемъ добромъ здоровът и въ полномъ парядъ, п говоритъ мив:

- Тессті Потипе... Фриде сингъ...

- Покажите мий сто.

— Положии, это сейчасъ пельзя.

- Ивть, покажите, а то и соиду съ ума! Я лениу съ досады. Показали миз мальчинку. Славими! Я его обилть и за-

— Ахъ, ты, говорю,—Инкитка, Инкитка! За что только тебя, бъднягу, оборотили въ Готфрида!

Выпланался до-сыта и инчего не сталь говорить до техъ поръ, пока жела оправилась.

Потомъ разъ выбраль время и говорю:

- Что же это вы сделали, Лина? Какъ я нашину объ этомъ на Арбатъ и въ Калужскую губернію? Какъ я его когда-инбудь повезу къ дълу и бабушкъ, или въ Москву

къ дядъ, русскому археологу и историку?

Она будто не попимаеть этого и ласкается: по л-то выв новимаю, какое мое положение съ поворожденнымъ ивидемъ. Встануть отепь и мать: показывай, моль, памъ колыванское производство, а что такое и имъ могу сказать, что я новажу? Вогъ, моль, я вамъ оттуда своего производства нъмца привезъ!.. Потрудитесь получить, - называется Готфридъ Бульоповичъ, въ заскательной формв Фриде, въ упичижительной — Фриды;а. Пил по трудное, а довольно потвиное. Меня засивоть и со двора съ измемъ сгопить. Или, сще вършье, мив не посврагь, потому что этому и пельзя поверить, чтобъ я, калуженинъ, истипно русскій человъкъ, борецъ за право русской пародности въ здінинемъ крав, самъ себв первенца вънца родиль! Адъ и смерть.

Прыгаль я, прыгаль, - разныя глупости выдумываль, хотвль дело подпимать, допось писать, перепрещивать, да на кого допосить станешь? На свою семью, на любимую жену, на добрую и всьми уважаемую тешу Венигрету, которую и и люблю, и уважаю!.. Чорть власть, что за положеще!

Такъ инчего иного и по могъ придуматъ, какъ признатъ «соперинивнийся факть», а въ немъ участие «перста», и затыть началь врать монмы старикамы, что случилось посчастіе: Пикитки, пишу, піть, а пышель фосъ-кушь.

Инчего другого вы этомъ положении не выдумаль.

ГЛАВА ТРИНАДПАТАЯ.

Живемъ па-ново и опять такъ же невозмутимо хорошо, какъ жили. Мой нъмчикъ растегъ, и я его, разумвется, люблю. Мое въдь дитя! Мое рожденье! Лина — превосходная мать, а баронесса Венигрета — превосходная бабунка. Фридька молоденъ и красавецъ. Баронъ Андрей Васильевичь посить ему конфеты и со слезами слушаеть, когда . Нина ему разсказываеть, какъ я люблю дитя. Оботреть пелковымъ платочкомъ своя слезливые голубые глазки, приложить ко лбу мальчика свои былый налець и шенчеть:

— Перстъ Вожій! перстъ! Мы всв сами по себъ не знаини инчего. И пролитаеть ва ирмениоми переводь изъ

Гафиза:

«Тицетио, художнинт, ты минив, Что творений своихъ-ты создатель.»

Меня повысили въ должности и дали мив повый чипъ. Это поправило наши достагки. Прошло три года. Датей болве не было. Япиа прихварывала. Андрей Васильевичъ даль мив командировку въ Англію для прісма портовыхъ заказовъ. Линь совътовали польчиться въ Дубельны у Пордитрема, въ его гидропатической личебинки. И ихъ завезъ тула и устроиль въ Маноренгофв, на самомъ берегу моря. Слагалось препрасно: и пробуду м'всяца два за границей, а онь у Нордитрема. Чудесный старикъ-пьмецъ, и теривть не могь острейскихъ измцевъ, все ихъ ругалъ по-русски «прохвостами». Вольныхъ заставлялъ ходить по берегу то босикомъ, то совсемъ нагишомъ. Въ антечное лечение не вкрилъ писколько и надъ всъми докторами см'вляся. Исключеніе ділаль только для одного московскаго Захарынна.

— Этотъ, говорилъ, — одинъ чисто дъйствуетъ: онъ по-иялъ дъло и напалъ на свою роль.

А похвала эта, впрочемъ, въ простомъ изъяснени сводилась нь тому, что опъ почиталь зваменятаго московскаго врача «объюродъвнимъ», но увърялъ, что «въ Москвъ такіс люди необходимы», и что она потому и крвика, что

держится «credo quia absurdum».

Любонытный быль человькы Жиль холостякомь, бракь считаль педостойнымь и запоздалымь учрежденіемь, остающимся пока еще только потому, что люди не могуть найти, чемь бы его заменить; ходиль часто безь нашки, съ толстой дубиной въ рукв, влъ мало, вина не цилъ и не куриль, и быль очень умень.

Моя теща пользовалась его расположеніемъ «пакъ умная ивыка». Жена моя должна была у него лючиться. Послы она хотела събадить къ Tante Августь въ Полангенъ, гдв море гораздо солонве.

Я сказалы

— Прекрасно.

— 11 Фриле съ собою возьмемъ: надо его ногазать танта и Авроръ; она въдь его еще не видала.

- Пожалуйста, возьмите; его только и остается показы-

вать танта Августа да Аврора.

Лина укоризненио покачала головою.

- Какой ты, говорить,—злой! Да, я алой; а вы съ своей мамой очень добрыя: вы такъ устроили, что мив своимъ родиымъ сына показывать CILII 10.
 - Почему же стыдно?
 - Ифмецы. лютеранинъ!
 - Пу, такъ что же такое?
 - Инчего больше,

- Будто не все равно? Всв христіане.

- То-то и есть, върпо, не все равно. И я такъ думаю: не все ли равно, а вотъ по-вашему, видно, не все равно: вы взили да и переправили его изъ Инкитии на Готфрида.

А женв ужъ печего сказать, такъ она отивнаетъ:

— Ты придираенься. Лишиюю компату, которан у насъ паверху, мы отдадимъ дядъ-барону (т. е. Андрею Васильевичу).

- Чудесно.

— Відь мы ему мпого обязаны.

— Копечно.

- Онъ очень любить Нординтрема.
- II Пордитремъ его любить.
- -- Правда?
- Да,

- Онъ тебь говориль это?

- Какъ же. Онъ мив говориль, что баронь - горохопый шутъ.

Лина обильлась.

— Я, говорить, — думою, что ты шутишь. — Икть, не шучу; но, впрочемъ, Пордштремъ хотклъ свести барона съ какимъ-то насторомъ, который одну ночь говорить во сив по-еврейски, а другую-по-гречески.

Лина заметила мив, что я дерзокъ и неблагодаренъ.

Въ ней была какал-то нервность. Такъ мы разстались и ночти три мъсяца не видались. Въ разлукъ, въ моемъ настроеніи, разумъется, произошла перемъпа: огорченія потеряли свою остроту, а хорошія, радостныя минуты жизин всилывали и манили къ женъ. Я въдь ее любилъ и теперь люблю.

Андрей Васильевичь встрётиль меня въ Риге на самомъ вокзале, повель завтракать въ наркъ и въ первую стать разсказаль свою радость. Пасторъ, съ которымъ познакомиль его Нордштремъ и который «во све говорилъ одпу почь по-еврейски, а другую — по-гречески», принесъ ему «обновление смысла».

- Что же такое опъ открылъ?
- А, другъ мой, это благословенная, это великая вещь! Я теперъ могу молиться такъ, какъ до этой поры никогда не молился. Сомивныя больше пвть!
 - Это большая радость.
- Да, это радость. Впрочемь, я всегда думаль и подозріваль, что здісь пічто должно быть не такь, что здісь что-то должно быть пначе. Я говорю о «Молитвії Господней».
 - Я инчего не понимаю.
 - Но въдь вы ее знаете?
 - -- «Отче нашъ»-то?--Ну, конечно, знаю.
- II помните прошеніе: «Хл'єбъ нашъ пасущный дай намь сегодня»?
 - Да, это такъ.
 - А вотъ то-то и есть, что это не такъ.
 - -- Позвольте...
- Да, не такъ, не такъ! Я и прежде задумывался: какъ это странио!.. «Не о хлѣбѣ человѣкъ живъ», и «не безпокойтеся, что будете ѣсть или пить», а тутъ вдругъ прошеніе о хлѣбѣ... Но теперь онъ миѣ открылъ глаза.
- А мив хочется сперва въ Дубельнъ, къ женв... боюсь, какъ бы не пропустить повзда.
- Натъ, не пропустимъ. Вы понимаете по-гречески слово: «επιούσιος»?
 - Не повимаю.
- Это значитъ: «над-сущный», а не насущный,—хлъбъ не вещественный, а духовный... Все ясно!
 - Я перебилъ:

- Позвольте, говорю, вы мий это что-то еретическое внушаете. Мий это нельзя.
 - Почему?

— Я человът истипно русскій и православный, — мив

нуженъ «хлют насущный», а не над-сущный!

- Ахъ, да! А я теперь въ восторгь читаю эту молитву, и васъ все-таки съ пасторомъ познакомлю. Это я непременно и хотъть, чтобы онъ, а не другой пасторъ крестиль маленькаго Волю, и онъ это сдълалъ...
 - Какого Волю?

— А второй сыпъ вашъ, Освальдъ!

— Ничего не понимаю!.. Какой сынъ?.. У меня одниъ сынъ, Готфридъ!

— Эго первый, а второй-то, второй, который масяць

назадъ родился!

— Что?.. МЪсяцъ пазадъ?.. Что же онъ тоже «стью сьс», что ли. сео ыкновенный, пад-сущный? Откуда онъ взялся?

— Его мать-Липа.

— Но опа не была беременна.

- А, этого я не знаю.

Я вив себя, бросаю Андрея Васильевича и лечу въ себв на дачу, и первое, что встрвчаю—теща, «всвии уважаемая баропесса». Не могу здороваться и примо спрашиваю:

-- Что случилось?

- Ничего особениаго.
- У Лины родился ребенокъ?
- Да.
- Какъ же это такъ?.. Отчего же?..
- Что за вопросъ!
- -— Ніть, позвольте!.. Какъ же, три місяца тому назадь, когда я убзжаль... я пичего не зналь? Въ три місяца это не могло сділаться!
- Конечно... Это надо девять мЪсяцевъ. ЗачЪмъ же ты это не зналъ?
- Почему же я могь знать, когда мив пичего не говорили?
 - Ты самъ могъ знать по числамъ.
- Чортъ вы, говорю, чортъ, а не женщина! Чортъ! чортъ!

Это вдругь такой обороть-то послё того, какъ я къ ба-

ронессъ чувствоваль одно уваженіе и почтительно къ ней относился!

Ну, дальше что же разсказывать! Разумёстся, коть лонин съ досады — ничего не подёлаещь! Опять все кончилось, какъ и въ первомъ случав. Только я уже не истеричичалъ, не изакалъ падъ своимъ вторымъ ифицемъ, а окончилъ объясиение въ мажорномъ тонв.

Я сказаль баропессь, что теривніе мое лоннуло и что я

въ монхъ отношеніяхъ къ семьв перемьияюсь.

Какъ? Зачъмъ перемъпяться?

-- А такъ, говорю, -- что совстиъ перемтиюсь, -- вы въдь еще но знаете, какой у меня пензвъстный характеръ.

- А какой пензвъстный характеръ?

- Я вамъ говорю—«пензвъстный». Я и самъ не знаю, что я могу сдълать, если выйду изъ теривнія. Вы это имъйте въ виду, если еще разъ вахотите мив сділать сюрирнъъ по числамъ.
 - Какал глуность!

- Ну, воть, смотрите!

У меня явился какой-то дьявольскій порывь — схватить потихоньку у нихъ этого Освальда и швырнуть его въ море. Слава Богу, что это прошло. Я ходиль-ходиль, — и по горѣ, и по берегу, а при восходѣ луны сѣлъ на песчаной дюпѣ и все еще пичего не могъ придумать: какъ же миѣ теперь быть, что написать въ Москву и въ Калугу, и какъ дальше держать себя въ своемъ собственномъ, нѣкогда миѣ столь миломъ семействѣ, которое теперь какъ будто взоѣсилось и стало самымъ упрямымъ и самымъ строитивымъ.

Вдругъ, на счастье мое, вижу, но бережку моря идеть мой благодътель, Андрей Васильевичъ, одинъ, съ своей изриой собачкой и съ книгой, съ библіей. Кортикъ мотается, а самъ какъ изгушокъ распіваетъ, безмятежнымъ старче-

скимъ выкрикомъ:

Я усталь,—пду ит поимо; Отче! очи мий закрой, И съ любовью надо миою Будь хранитель вёрный мой!

И какимъ молодиомъ идетъ на своихъ тоненькихъ ножкахъ, и все выше и выше задуваетъ высокимъ фальцетомъ:

> И сегодня, безь сомивнья, Я виносень предъ Тобой;

Дай мив всёхъ гріховъ прощенье, Телу—сонъ, душё—покой!

Мит стало завидно его бодрости и спокойствію, да и къ жизни, къ общенію съ людьми опять меня поманило, и на

умъ пришла шутка.

«Нѣтъ, постой ты, думаю, — старый пѣвунъ: пока ты дойдешь до своей постели, чтобы вкушать сонъ и покой, котораго просишь, — я тебя порастравлю за то, въ чемъ, кажется, и ты «виновенъ безъ сомнѣнья».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

у покинуль холмъ, гдѣ сидѣлъ, и безъ труда догналъ Андрея Васильевича.

Адмиралъ, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнялъ.

- Здравствуйте, говорить, мой другь, здравствуйте! Какая посль чудеснаго дня становится чудесная ночь! Я съ упоецыи, гуляю и молюсь, все повторяю «Отче нашъ» въ новомъ разночтеныи, благодарю за «хл. ют индесущний» и мосму сердцу легко. «Сердце полно, будемъ Богу благодарны». А вы какъ себя чувствуете?.. Вы тоже гуляли?
 - Да, гулялъ.
 - Прекрасный вечеръ. Теперь домой?
 - Домой.
- Воть и чудесно, и нойдемъ вмѣстѣ. Я не скучаю и одинъ, но съ сердечнымъ, съ сочувственнымъ и о́лагоредномыслящимъ человѣкомъ вдвоемъ еще веселѣй... А вы вѣрно узнали 1сс, какъ это случилось, и тоже спокойны?
- Н'ыть, отвычаю,—я ничего не узналь, да и не хочу узнавать!
 - Да, это перстъ Божій.
 - Ну, позвольте... ужъ вы хоть перстъ-то оставьте.
- Отчего же? Когда нельзя понять, падо признать персть.
- А я скорфе согласенъ видъть въ этомъ чей-то шишъ, а не перстъ.

Опъ остановился, какъ будто долго не могъ понять, а потомъ помоталъ передъ собою пальцемъ и произнесъ:

— Ни-ни-ни! Это перстъ!.. И вы никогда больше не говорите «шишъ», потому что «шишъ», —это русскій нигилизмъ.

- Пу, ужъ нигилизмъ или не ингилизмъ, а я тутъ перста не вижу. Перстъ не указываетъ, какъ обманывать человъка, а здъсь обманъ, и нотому я принимаю это за шингъ, ноказанный всему моему дальнъйшему семейному благополучію. Семейное счастье мое разстроено...

— Почему?

- «Ахъ, ты, думаю, тупица этакій! Еще извольте ему разъяснять «почему»!
 - Я не могу больше върить самымъ близкимъ людямъ.

— То-то: почему?

«Фу, чорть тебя возьми! думаю.—Ишь въ чемъ у нихъ, между прочимъ, сила кроется. Чего они не хотятъ понятъ, того и не понимаютъ. Такъ и моя жена, и всеми уважаемая теща, и этотъ благочестивый игвунокъ.—А я же васъ разочарую по-русски, откровенно.»

И говорю:

- Я, ваше превосходительство, вамъ скажу только одно: и вамъ скажу, до какихъ острыхъ объясненій у насъ дошло съ баронессою, которую, какъ вы знаете, я любилъ и уважаль какъ родную мать.
 - Знаю, знаю! II она этого стоить.
 - Да, а тенерь я ей пригрозилъ.
 - Чѣмъ?... Какъ можно пригрожаты
- Такъ... сказалъ, что я больше ничего не потерилю, и что у меня есть ужасныя черты въ характерф, которыхъ я самъ боюсь.
 - Вы это пошутили?
 - Нѣтъ, совершенно серьезно.
 - А что вы, напримъръ, можете сдълать?
 - Не знаю...
 - Какъ же не знаете?
- Въ томъ-то для меня и есть самый больной ужась, что и самъ не знаю. Я терилю много и долго, держу себя... какъ восинтанный человъкъ, какъ европесцъ; а потомъ, если меня станутъ очень сильно скребсти,— я и освирънъю, какъ быкъ.
 - Какъ быкъ!.. Гм!.. Это скверно.
- И я впередъ вамъ говорю, что это можетъ кончиться скверно.
 - Напримфръ-какъ?

 А папримъръ такъ, что и сегодия-было вздумалъ швырнуть за ноги это дитя.

- Оп, какая гадосты!

- Да, это гадость, но вЕдь и со мною дЕлають исхорошее. Пословица говорить: «противъ жару и котель тресцеть».
- A-га! Хорошая пословица. Я очень люблю русскія пословицы. Но это не годится. Дитя инчёмъ не виповато.

-- Ну, я денось на собственную семью нашину и пошлю.

Офицеръ!.. Доносъ!Да, самъ на себя.

--- Этого никто не двлаетъ.

— Ніть, ділають; въ бракоразводныхъ ділахъ даже очень часто ділають.

- ИІть, ужь вы этого не делайте.

- -- Ну, такъ воть вы меня, ваше превосходительство, научите, что же мив двлать-то, чего держаться и какъ изъ себя не выйти?
 - Держитесь русской нословицы.

-- Которой прикажете?

- «Когда ты хочешь разсердиться, подумай, что ты говоришь съ генсралъ-губернаторомъ».

- Такой пословицы истъ.

— Есть.

— Да ужъ позвольте мив, какъ русскому, лучше знать, что такой пословицы ивтъ.

— Я ес оть книзя Суворова въ Рига слышалъ.

— Про рижскаго князя Суворова про самого-то стоитъ

пословицу сложить.

— Это правда, правда. Онъ фантазеръ, по добрякъ. Миогое, что было невозможно, онъ сдёлалъ возможнымъ. Его, бывало, попросятъ, — онъ скажетъ: «это возможно». Очень жаль, что его больше пѣть,—и вамъ было бы хорошо.

- Мий все равно, меня мучить только, какъ своимъ

роднымъ написать, что у меня все ивмиы родятся.

— Да!.. въ самомъ дъль: какъ бы имъ это написать?

— Я имъ чистосердечно во всемъ признаюсь, что я ихъ по вашей милости обманывалъ, и что у меня сыпа Никиты ивть, а есть даже два сына, и оба ивица. Пусть и отецъ и дядя это узнаютъ, и они меня пожальютъ, и отиншутъ свое наследство, находящееся въ Россіи, детямъ моей

сестры, русскимъ и православнымъ, а не моимъ д'ятимъпъщамъ, Роберту и Бертраму.

- Фyñ!

— Отчего фуй? Я больше лгать не хочу. Приду домой и нашишу: мий будеть легче.

— Чъмъ же легче?

 Тъмъ, что я не буду больше монхъ честныхъ стариковъ обманывать.

Адмираль задумался и прошепталь:

— Это тоже правда.

- Конечно, правда.

- А вы первый разъ имъ... о первомъ ребенив какъ паписали?
 - Я тогда солгаль.
 - А-а! Какъ жалы
 - -- Да, я нагло и гнусно солгалъ.

-- Что же именио?

- Свалиль все діло на fausse couche.
- Недурно! Очень хорошо! Теперь свалите на фоскушку!
 Нътъ, ваше превосходительство, я попробую приду-

 Натъ, ваше превосходительство, я попробую придумать что-нибудь другое.

— Зачемъ? Лучше этого не придумаете.

Разстались. Я вернулся домой и въ самомъ дѣлѣ сѣлъ писать чистосердечное признаніе... Какъ-то не иншется... Противно это излагать, какая я трянка, что у меня все рождаются пѣмцы, и я не могу этого прекратить.

Чортъ возьми нашу тельту и всь четыре колеса! При

случав написаль про фоскушку.

Опять живемъ. Получилъ кресть и денегъ дали.

Къ жизни охладъть, и къ тъмъ вопросамъ, которые приходять изъ Россіи, охладълъ. Семья-нъмцы растуть, живу хорошо и очень тихо. Ну ихъ совсъмъ, всъ вопросы! Это надо имъть къ нимъ охоту и здоровые первы, чтобы ими заниматься. И то не здъсь и не въ колыванской семъъ. Никитки отъ меня больше не ждутъ и не требуютъ. Все замерло тамъ и пріутихло, и во мић, казалось бы, конецъ. По только какъ нуганая ворона сучка боится, такъ и я: изъ дому отлучаться боюсь. Думаю: кажется, безонасно, кажется, инчего нътъ, а между тъмъ, Богъ ихъ знастъ, какая у инхъ... природа какая-то «пад-суниая»: перавно вернешься, а у нихъ уже и поетъ въ неленкахъ повый итмецъ.

Этого я пе хотъть больше ни за что, и, признаюсь вамъ въ своей инзости, болъе для этого и съ отцомъ Оедоромъ Знаменскимъ познакомился, когда его назначили благочиннымъ. Пошелъ къ нему исповъдаться и говорю:

— Вотъ что въ моемъ семейства два раза было. Я самъ вамъ объ этомъ объявляю. Вы теперь благочинный, должны за этимъ смотрать, чтобы законъ не обходили. Я часто бываю въ отлучкахъ, а вы смотрите... А то я самъ послъ на васъ донесу.

Онъ испугался и денегь за исповёдь пе взялъ и вмёсто отпуска сказалъ мив: «мое иочтецье», а деноса ис по-

далъ.

Трусъ неописанный. Но зато и безъ его помощи печего стало бояться. Одно горе прошло,—стала надвигаться другая туча. Моему семейному счастію угрожало неожиданное обідствіе съ другой стороны: всегда пользовавшаяся превосходнымъ здоровьемъ Лина начала хворать. Изміняется въмиць, цвітъ ділается строватый, зловіщій.

Я себя не помню отъ отчаянія. Гіляну себя за то, что когда-нибудь что-нибудь ей сказаль, плачу какъ безумный.

Она меня ободряеть и утвшаеть.

- Успокойся, говорить, -я буду жить.

Мать, баронесса, являеть безм'врпую силу любви и самообладанія.

Здвиніе врачи пашли у нея что-то непонятное. Лина и баронесса отправились въ Ригу. Тамъ имъ сказали, что нужна скорая операція. Разсуждаемъ: въ Нетербургъ, или въ Берлинъ? Разумбется, въ Берлинъ: лучше и дешевле. Я не спорю; гдѣ больная хочетъ, пустъ тамъ и будетъ. Дѣтей, чтобы они не оставались один ири моихъ отлучкахъ по службѣ, рѣшили завезти по дорогѣ къ тантѣ Августѣ и кузинѣ Аврорѣ. Такъ я по необходимой служебной надобности ушелъ въ море тотчасъ съ началомъ навигаціи, а онѣ должны были выѣхать черезъ недѣлю, когда Лина будетъ себя немножко крѣпче чувствовать. Я жду отъ нихъ въ условленныхъ мѣстахъ извѣстій объ отъѣздѣ; но сначала писемъ нѣтъ, а потомъ извѣщаютъ, что «еще не выѣхали», послѣ, — что «на Лину прекраспо дѣйствуетъ нокой и воздухъ», еще позже, — что «къ удивленію можно сказать, что врачи въ Ригѣ, кажется, ошибались и что операціи вовсе, можетъ-быть, не пужно», и наконецъ, —

что «Лина ноправляется и он'в нерефажають изъ города

на дачу въ Екатериненталь».

Это последнее известие ило долго, и я получиль его только двв недвли тому назадъ, вмвств съ другимъ извв-стіемъ, что дядя изъ Москвы иниетъ, что отецъ мой умеръ и завещаль именьние мнв и «монмь детямь».

Я и обрадовался благонріятной опшбив врачей, и очень поскоровать и поплакаль объ отцв, котораго давно не видаль, а тенерь совсемь его лишился. И воть вчеращий день, разстроенный всёмъ этимъ, возвращаюсь домой, влетаю въ компаты, стремлюсь обилть жену--и вижу у нея на рукахъ грудное дитя!

Боже мой! Я удариль себя ладонью въ лобъ и спросилъ

только:

- Какъ его имя?

— Гуня.

-- Что это значитъ?

— Гунтеръ!

Значить, я и въ третій разъ обмануть!

Выходить баронесса и тихо говорить:
— Никакого обмана ивть,—это ошибкой подкралось.

Остальное вы сами знаете. Слово «подкралось» такъ вдругъ лишило меня разсудка, что я надълалъ все, что вы знаете. Я ихъ прогналъ, какъ грубіянъ. И вотъ тенерь, согда я все это сделаль, — открыль въ себе татарина и раз-биль навсегда свое семейство, я презираю и себя, и всю эту свою борьбу, и всю возню изъ-за Никитки: теперь я хочу одного-умереть! Отепъ Оедоръ думаеть, что у меня это прошло, но онъ опибается: я не стану жить.

— Вы хотите довольно дешево отдълаться, —произнесъ по-нъмецки молодой и спльный женскій голось, впалающій

въ контральто.

Мы оба оглянулись и увидёли на дорожкё, у самой дверцы, стройную молодую дёвушку, изо всего лица которой, оттёненнаго широкими полими соломенной шляпы, быль видень одинь ижжный, но сильный подбородокъ.

Я узналь, что это была Аврора, и почувствоваль въ душть большую радость. Я здъсь становился совершение излишнимъ, и притомъ этотъ разбитый человъкъ теперь будетъ управленъ хорошимъ кормчимъ.

Кузина Аврора, конечно, за этимъ предстала и, посмо-

тръвъ на нее, можно было сказать, что она знаеть, что надо сдълать, и что падо, то и будеть сдълано.

- Умереть легко; надо не умереть и оставить семью безъ опоры... а созератить себъ расположение жены и уважение людей-воть что должно быть достигнуто! - услыхаль и черезь открытое окно своей компаты, и тогчась же посившиль взять шляпу и уйти изъ дома, чтобы не быть нескромнымъ свидітелемъ щекотливаго и важнаго семейнаго разговора. Но живое любопытство п особенное вниманіс, какое возбуждала къ себв эта, такъ театрально какъ будто по пьест для развязки назначенная, эоприал Аврора, побуждали меня узнать: что туть случится, что эта оригинальная и смелая девушка выдумаеть, и что устроить. Какъ она номожеть этому бъдняку достичь исполненія очень трудной, но въ самомъ дъль необходимой и единственно достойной въ его положении задачи: «не оставить семью безъ своей опоры и возвратить себь расположение жены и уваженіе людей».

Это совсимь не пъсенка изъ московскаго и всенника на голосъ: «Когда сынъ у насъ родится—мы Инкитой назовемъ», а это труднал, серьезно задуманная фуга, развить которую есть серьезная цъв для всего предстоящаго, по зато сколько надо имъть смысла и теривнія, чтобы всю эту

фугу вывесть одною рукою!

Фуга, какъ стройный рядъ повторяемостей, берется сначала однимъ голосомъ безъ всякаго аккомпанемента и ея основная тема называется «вождемъ» (Führer), а когда опъ окончитъ—другіе повторяютъ то же въ ладъ доминанты главнаго тона (Antwort).

Пиаче это не идетъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Въ семъй, потрясенной описаниыми событіями, все стало тихо: весь безпорядокъ прекратился и какъ будто инчего особеннаго и не случилось. Выло опять утро и былъ вечеръ въ день второй. Я, кажется, больше всёхъ былъ обезпокоенъ и боялся взглянуть въ садъ, а по двору проходилъ не пначе какъ после обозрвнія, что путь свободенъ. На третій день былъ праздникъ «Johannes», соответствующій нашему Куналь. Все увзжали in's Grüne на мызу. Тамъ инли, вли, ивли и тапцовали, а дввушки

плели въвки и укранались ими. И я быль тамъ. Много ходилъ, усталъ и за небольшую илату, виесенную какомуто рабочему ири мызъ, помъстился отдохнуть на съносушкъ. Это была деревлиная постройка, сдъланная такимъ образомъ: внизу срубъ небольной, на немъ балки, превосходящія величною этотъ срубъ, и на шихъ второй, верхній срубъ, обинриве нижияго. Въ этомъ верхиемъ срубъ—кладовая и сушильня. Выше ея, подъ самою крышею, оригинальный кариизъ, состоящій изъ цълаго ряда совершенно одпообразныхъ и правильно размъщенныхъ скворешинцъ. Здъсь свъжо, сухо, и то пико коношател въ своихъ скворешияхъ, то торопливо рокочутъ, ведя другъ съ другомъ тороиливыя и жаркія бесьды на трехъ огромивинихъ линахъ.

Вси илощадка. гдв ностроена эта суппильня, обнесена высокимъ частоколомъ, образовавшимъ дворикъ, на которомъ стояли подъ навъсомъ два плуга, телъжка и ометъ соломы. Подъ лицами былъ круглый стояъ, утвержденный на столбъ, двъ скамейки и самодъльный тяжелый стулъ изъ карельской березы. Въ нижиемъ этажъ сушильни было жилое помъщение для того работника, который далъ миъ отрадный приотъ на сънъ.

Я спаль довольно долго и крѣпко, и проспулся какъбудто отъ оживленнаго говора, который слынался синзу.

Это и въ самомъ дъль было такъ.

При пробужденін своемъ а услыхаль три раза и твердо повторенное:

- Nain! nain! nain!

Это произносиль молодой, сильный голось, и произносиль именно «nain», а не «nein», и притомъ съ усиленною твердостью и съ энергією. Голось мив показался знакомымъ.

Другой, болье густой, но тихій голось отвычаль:

— Но выдь это же очень несправедливо и странно, Аврора. Ты должна же признать, что если не правъ и даже много виновать я въ своей непростительной несдержанности и грубости, для которой я и не ину справданій, то выдь не правы и онь.

Это быль голось моряка Сипачева.

Въ отвътъ на его слова опять послышалось то же самсе упорное:

- Nain, nain!
- Какое возмутительное упорство!
- Nain, это не унорство. Упорство въ тебъ.
- Ну, въ такомъ случай это —дикость.
 О да, да! Непреминно! Но теби, можетъ-быть, неудобно говорить о дикости! Въдь ты сегодня именинникъ. мы сегодня пируемъ здъсь твой день, и и тебя увела сюда не для того, чтобы говорить о прошломъ, а для того, чтобы сказать тебь наединь радость, что открывается въ настоящемъ и будущемъ.
 - Ты всегда живешь въ будущемъ.
- Nain! Я живу только въ пастоящемь, но для будушаго.
 - Слушаю.
- Onkel баропъ сейчась мий щеннуль, что онъ нолучиль отъ Литке отвътную денешу: тебя назначають на корабль, который вышель въ кругосевтное плавание. Онъ теперь уже въ Плимуть, и ты долженъ его догнать; тебь послѣзавтра надо выѣхать.
- Гм!.. Прекрасно. Это баронъ Андрей Васильевичъ всо исполниль по вашей командь, милая Аврора?
 - Аврора никъмъ не командуетъ.
- Я готовъ,.. готовъ, и и даже радъ, что ты это исхлопотала, Аврора.
- Еще бы не радоваться! Это единственный способъ дать всему успоконться. Ты послі: возвратниься домой съ успокоеннымъ сердцемъ.
- Да, но только это ведь я возвращусь не ближе какъ черезъ два года, Аврора.
- Да, это будеть *всего* черезъ два года; но если сильно надъ собою наблюдать и хорошо себя школить, то и этого времени довольно, чтобы передалать въ себа, что не годится.
 - Это все одинь я должень въ себь все передълывать?
- Конечно, ты; но вовсе не все, а только то, что мъщаетъ твоему семейному благополучію.
 - А два года изъ жизни вонъ?
- Почему «воиъ»? Что употреблено на исправление себя, то не потеряно. Афло не въ долгой жизни, а въ достойной жизни.

— А другіе въ это время инчего не будуть въ себі пи исправлять, ин нереділывать?

— Имъ печего нередълывать. Развѣ постараться сдълать

себя хуже.

Аврора захохотала и шутливо добавила: Можетъ - быть ты думаень, что это и стоило бы для теби сдёлать?

- Я думаю не это, а л думаю, что я всныльчивый и лурно воснитанный человыть, по что и тв, кто привель меня въ состояние безумнаго гнъва, тоже не правы.
 - Nain!—неребила Аврора.
 - Вы ноступали со мною непростительно дурно.
 - -- Nain!
 - Вы поступили зло, упрямо, узко...
 - Nain!
 - И, наконецъ, безчестно!..
 - Nain!
- Вы отравили мое спокойствіе, вы лишили меня возможности откровенных вотношеній съ моими родными, сділали всіхъ дітей лютеранами, когда они должны были быть русскими.

- Nain!

Очевидно, — ей теперь хоть коль на голов'в теши — она все будеть твердить свое «nain».

Я приложиль глазь къ одной изъ рёзныхъ продушинъ сущильной стёны, чтобы посмотрёть на ел лицо. Я хотёль видёть: какое опо теперь имёеть выраженіе—и оно меня непріятно поразило. Это лицо ясно говорило, что Аврора пе желаеть знать никакихъ доводовь, и что къ справедливости или къ разсудку въ разговоре съ нею теперь взывать напрасно. Она видёла только то, что хотёла видёть, и ила къ тому, чего хотёла достигать. Все это можно бы принять за тупость, но такому заключенію противоречиль быстрый и умный взглядъ ел изящныхъ сёрыхъ глазъ и чертовски твердое выраженіе подбородка.

Произнося свое «nain», она точно что-то отгрызала и, откусивъ, даже не смыкала губъ, а оставляла ихъ открывни, чтобы опять еще и еще разъ что-то перекусить и бросить. Ея бълые, правильные зубы были оскалены какъ у разсерженнаго звърка.

Она говорила стоя, поворотясь къ собеседнику спиною,

и судорожно конала и расшвыривала землю палкою своего

свраго кружевного зонтика съ коричневой лентой.

Морякт сидъть на одной изъ скамеекъ; по когда Аврора на всв его доводы отвътила «найнъ», онъ порывисто всталъ и сказалъ:

- Ну, хороню. Довольно. Я не буду сътобою боле спорить. Я тебя даже очень благодарю. Твое жестокое упрямство послужить мив въ нользу... Когда я буду отъ васъ далеко... и одинъ... и когда мив станетъ о васъ скучно... я вспомию тебя вотъ такою, какой вижу теперь... и мив будетъ легче.
 - Naint
- Какъ это «пайнъ»?.. Я тебь сказаль: мив будеть дегче.
 - Nainl
 - Почему «найнъ»?

Аврора полуоборотилась въ нему и, топнувъ ногою, произнесла придыханіемъ:

- Потому, что ты меня будень всноминать не такою! Офицерь улыбнулся и, тихо вставь съ мъста, взяль и поцъловаль руку Авроры.
- Ты права, —проговорилъ онъ, поцёловалъ ту же руку вторично и добавилъ: но знай, Аврора, что ты сегодия самая противиая, самая упрямая пёмка.
- О, я думаю! отвічала, такт же улыбаясь я пожавт илечами Аврора. Відь это только мы, упрямыя німки, и иміємть дурную привычку доділывать до конца свое діло. Не-німка наділала бы совстімть другое, у нея тутт были бы и слезы, я угрозы, и sacrifice или примиреніе ян на чемт, до перваго поваго случая ин изт-за чего. Да, я пімка, мой милый Johann!.. я упрямая пімка.
 - II очень красивая, чортъ возьми, ивмка!
- Да, да, да! «Чортъ кого-нибудь возьми» я и довольно красивал пъмка.

Онт опить взяль ея руку и проговориль:

- Но уступи же мий хоть что-нибудь.
- Ничего!
- Ну, такъ п я же поставдю на своемъ: я буду звать вашего Гунтера—Никиткой.
 - Что-о?!

 Воть этого третьиго мальчишку и буду звать Инкиткой.

Аврора громко раземвилась.

- Можешь, можень... Это будеть очень забавно!

А въ это время изъ-за частокола показался баропъ Андрей Васильевичъ и ласково заговорилъ:

- Что это могло такъ разсмышить пашу милую крошку,

Aspopy?

Аврора показала пальцемъ на офицера и проговорила:

- Онъ будетъ называть своего третьяго сына Никиткой!
- 11 прекрасно!—воскликнуль баронъ.—А ты, Аврора, гъ самомъ деле остаешься здёсь, съ нами, съ кузиной и съ тантой?
 - Да, Onkel, я буду жить съ Tante и съ Линой.
 - -- И пробудешь все время, пока онъ возвратится?
 - Да. Onkel.
- Милос дитя! А ты сама... Думаешь ли ты когда-нибудь о себъ?
 - Что думать, Onkel!—это вредно.
 - Ты развъ до сихъ поръ никого особенно не любишь?
 - Ай-ай! къ чему вамъ знать это, Onkel?
 - Прости. Я думаль, въдь и тебъ пора. Года идутъ.
- О, не безпоконтесь, Onkell Моя пора любить уже настала, и я съ нея собираю илоды.
 - Aral Что же даеть тебь эта любовь?
- Удовольствіе видіть счастіє тіхъ, кого я люблю, Onkel!
 - И этого съ тебя развѣ довольно?
- Этого?.. Этого много, Onkel. Это только стоить на-

Старикъ покачалъ головой и сказалъ:

— Да, ты наидень себ'в роль въ жизни. Аврора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

И опа, дъйствительно, ее нашла.

Со времени описаннаго происшествія минуло пятнаддать літь. Я зайхаль въ Дрездень навістить носелившееся тамъ дружественное мий русское семейство, и однажды неожиданно встрітиль у нихъ слабенькаго, но благообразнійшаго старичка, котораго мий назвали барономъ Андреемъ Васильевичемъ. Мы другь друга насилу узнали и загово-

рили иро Ревель, гдѣ видѣлись, и про людей, которыхъ видѣли. Я сиросилъ о Сипачевѣ.

— Ну да, да, да!.. Какъ же!.. Онъ здёсь, былъ здёсь...

здѣсь.

Андрей Васильевичь говориль такъ же ласково и мягко, или даже еще мягче, и теперь онъ даже одъть быль во все самое мяксныкое.

— «Быль»,—а гдф же онь теперь?

— Опъ умеръ, но умеръ здісь. Відь здісь его семейство и здісь его похоронили. Перстъ Божій! Аврора ему поставила очень хорошій намятникъ на большомъ кладбищі. Вы можете видіть. У нихъ реестръ. Спросите: «гді контръ-адмиралъ Сипачевъ», сейчасъ укажутъ.

— А онъ уже былъ контръ-адмиралъ?

— Какъ же! Какъ же!. Разумбется, чинъ дали къ отставив. Прекрасно сдвлалъ кругосвътное илаваніс и прекрасно кончилъ весь кругъ своей жизни. Аврора получаетъ пенсію и много пишетъ сама на фарфорф. «W» и «R» внутри буквы «А»—это ея мопограмма. Ей очень хорошо платитъ, но у нея въдъ не мало дътей. Старшая дочь уже помогаетъ Авроръ.

— Позвольте, говорю, -- я не все понимаю: сколько по-

мию, имя его жены-Лина.

— Ахъ, вы еще про ту старину! Липа давно умерла, и мать ея, баропесса, сестра моя, тоже умерла. А когда Лина умирала, она взяла мужа за руку и сказала:--«Ты не илачь, я не боюсь умереть, я боюсь только за тебя и детен. А чтобы я не боллась отоити из Богу съ покойнои душой, дай мив слово непремвино жениться на Аврорв». Й опъ, чтобы не огорчать кроткую Липу, даль ей это слово. Тогда она нозвала Аврору и сказала: «Облегчи мив уходъ мой отсюда: подай ему руку и сохрани его и моихъ двтей».-- И Аврора подала ему руку. Все такъ и сдвлалось, какъ просила Липа. Но вы знаете, тамъ... у насъ это было нельзя, нотому что когда онъ еще не быль христіаниномъ, онъ быль два раза женатъ, Лина была его третья жена, и хотя одинъ бракъ его совсемъ не быль бракомъ, но тъмъ не менъе ему жениться на Авроръ было невозможно. Тогда Аврора сказала:--«пойдемъ отсюда», и они продали все тамъ и пришли сюда, и купили все здась. Ихъ благословилъ насторъ, у нихъ миленькій домъ, садъ

и мастерская, и нечь для фарфора. Перевели сюда его пенсію, и носль того, когда Аврора стала его женою, у нихъ было три дочери, и всь одна другой лучие. Они прожили въ счастъв одиннадцать лѣтъ. Мив стало скучно, и Аврора мив нанисала: «Onkel, прівзжай и ты», и я у нихъ жилъ и живу. Тенерь я и совсьмъ остался здысь, при нихъ, потому что одинъ я только мужчина. Надо всегда быть готовымъ въ номощь другь другу, и перетъ Божій мив такъ указаль.

— А гдѣ же его сыновья? Вѣдь имъ, я думаю, надо отбывать воинскую повинность въ Россіи?

Баронъ покривился и сказалъ:

— Нѣть, имъ, я думаю, это не надо. Они вѣдь совсѣмъ... Все ихнее генерь здѣсь... И мать, — эта Tante Aurora. Она вѣдь ихъ воспитала и очень ихъ любитъ, и они ее любитъ, а Аврора Россію не любитъ.

— Да за что она ее такъ не любитъ?

Адмиралъ пожалъ педоумбино плечами и молвилъ:

— Навврио не знаю, по думаю такъ, что... Аврора въдь очень опредъленная... и она боится всего пеопредъленнаго. Мать... и дътей любить, а тамъ выходить все... что-то не-

предъленное.

Иванъ Инкитичъ погребенъ въ Дрезденв не на русскомъ кладбицв; онъ, какъ бычокъ, окончательно отмахнулъ головою и отъ Москвы, и отъ Калуги, и кончилъ свой курсъ ивицемъ.

РАКУШАНСКІЙ МЕЛАМЕДЪ.

РАЗСКАЗЪ НА БИВУАКЪ.

ГЛАВА ПЕРВЛЯ.

Жьло было для насъ неудачливо: мы отступили, но, къ счастію, непріятель насъ болье не тревожиль и даваль намъ времи отдохнуть и оправиться. Мы расположимись бивуакомъ въ безопасномъ ущельъ, раздълясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашимъ отрядомъ комаидоваль мајорь Никаноръ Ивановичь Плескуновъ, очень добрый, снокойный и мужественный офицеръ и изрядный оригиналь, изъ вымирающей породы Лермонтовскихъ Максимъ Максимовичей. Онъ считалъ за собой одно немаловажное, но его мивнію, пренмущество, что съ техъ поръ какъ произведенъ въ офицеры, все время служилъ «въ сърыхъ войскахъ». Такъ опъ называль таможенную стражу, по которой числился, состоя начальникомъ небольшой команды на одномъ изъ весьма извъстныхъ контрабандныхъ нупктовъ на австрійской границь. Война съ турками его разсердила, и опъ бросиль свой «стрый пость», и перевелся въ дъйствующую армію.

Мајоръ Плескуновъ былъ не старъ и не молодъ, не высокъ ростомъ, коренастъ и немножко мужиковатъ въ манерахъ и въ движеніяхъ, но былъ, какъ я сказалъ, прямая душа, добрая, и во всъхъ своихъ сужденіяхъ и взглядахъ на вещи оригиналъ. Онъ былъ беззавътно храбръ, хотя по наружности казался изряднымъ рохлей: не горячился, не вскидывался, не подымался на дыбы, но не робътъ и не

издаль духомь, а всегда и везд'в разсуждаль и д'віствовать съ настоящимъ твердымъ мужествомъ и съ «про-хладкой». Похвальбы онъ теривть не могъ и считаль ее и педостойною военнаго человъка, и вредною.

— Это, — говорилъ онъ, — дъло купеческое; наври, чтобы было можно изъ чего уступить, а потомъ и спускай. А паше дъло солдатское, туть что Богъ дасть.

Понятно, что, держась такого правила, онь не нивять въ своемъ обычав ни мальйшей тыни самохвальства и задора. Ръчей онъ никакихъ не говорилъ, ни обширныхъ, ни краткихъ, кромѣ общаго виушенія:

— Дълан свое дъло, не стой на мѣстѣ, когда иллотъ внередь, и не хвались внередь, чы будеть горка, а ра-

ботай.

Горка-это была его поговорка, то-есть чья возьметь, чен верхъ будеть.

Солдаты Илескунова любили и называли его «настояцимъ

командиромъ».

— Форсу, говорили, — не задаетъ, а воюетъ какъ надо и судить умно: двлай, говорить, какъ надо, а горку кому Богь дастъ, на то Его воля, а не твое распоряжение.

Хорошъ Плескуновъ быль и съ офицерами, и съ пами, юнкерами, которыхъ у него въ батальонъ было не мало. Между нашими офицерами водились люди довольно различ-паго калибра: были у насъ и пастоящіе армейцы, были и «привилегиранты», прибывшие къ Балканамъ изъ дальней съверной столицы. Никаноръ Пвановичъ не дълаль между ними никакого различія и держаль себя со всіми съ нами на самой короткой, товарищеской ногв, хоти, впрочемъ, очевидно, въ дълъ оказываль больне довгрія настоящимъ армейцамъ и политиковалъ, говоря, что «у привилегирантовъ мундиры дорого стоятъ, кът надо пожалътъ». По, поступая такимъ образомь, онг все-таки не любиль, чтобы <mark>армейцы задирали привилегирантовъ или какъ-нибудь падъ</mark> инми подемвивались.

О храбрости Илескунова и о его преданности ділу, за которое онъ пришеть сражаться, покинувъ свою таможенную стражу, не могло быть и рычи; первая достаточно доказывалась многочисленными рубцами, которыми все лицо Никанора Ивановича было изборождено отъ контрабанди-стовъ, съ которыми онъ вель тридцатильтиюю войну, безъ единаго дня перемирія. А что онъ считаль войну за славинь близкою своему сердцу, въ этомъ убъждало то, что онъ оставиль для нея свою старуху, о которой ничего не говориль, кромъ какъ то, что «она набожна», но которую, очевидно, любиль очень сильно.

Ни главнаго, ин бликайщаго своего начальства Плескуновъ покогда не критиковалъ и теривть не могъ слышать что-нибудь подобное отъ другихъ.

Что тебѣ до него за дѣло?—говорилъ онъ, стараясь всегда остановить критика.—Хорошо намъ съ тобой разсуждать, какъ у насъ ума мало, а они, можетъ-быть, больше знають и путаются. Ты, что ли, въ отвѣтъ за него пойдешь? Свой носъ, смотри, въ чистотѣ содержи.

Илескуновъ имѣлъ нерасположение къ «политиканамъ», въ числѣ которыхъ считалъ всѣхъ интересующихся газетными толками и дѣлающихъ по этимъ толкамъ какія бы то ни было предположения о выснихъ соображенияхъ и общей судьбѣ событій. Газеты же просто ненавидѣлъ, — и всѣ равно безъ различія, какого бы онѣ ни были направления, о чемъ, вирочемъ, опъ едва ли и имѣлъ надлежащее понятіс. Онъ былъ о газетахъ того мнѣпія, какое одно изъ Грнбоѣдовскихъ лицъ высказывало о календаряхъ: «Всѣ врутъ календари».

— Врутъ-съ, -- говорилъ Никаноръ Ивановичъ.

Впрочемъ, Никаноръ Ивановичь и вообще съ печатью не дружилъ, окромя какъ съ церковною, въ которой былъ весьма пачитанъ, такъ какъ, по его разсказамъ, они съ женой эти книги всегда другъ другу въ зимніе вечера «гласно» читали. Если же у кого-инбудь въ отрядѣ появлялся листокъ газеты, которую тотъ намѣревълся прочесть прочимъ, то Плескуновъ сейчасъ звалъ казака и нарочно громко чѣмънибудь распоряжался. Иной разъ, не зная что сказать, онъ посылалъ «пошарить», исльзя ли гдѣ-инбудь достать для него бутылку чуфурляръ-лафиту.

Что это за вино имкло быть, этоть «чуфурляръ-лафить» мы не могли себв представить, и думали, что Плескуновъ его просто намъ на смъхъ выдумалъ, но Никаноръ Ивановичъ увврялъ, что въ Балканахъ непремънно есть такое вино, что его отецъ, когда дёлалъ прошедшую турецкую камианію, такъ пилъ чуфурляръ-лафитъ и помнилъ о немъ до самой смерти; а потому какъ Инкапору Ивановнчу стацеть что-инбудь досадительно, онъ сейчасъ и вспомнить.

— Вѣдь не можеть же быть, чтобы наши тогда его весь вышили; а если вышили, такъ съ тѣхъ поръ поваго падо было намять. Ступай, братецъ казакъ, пошарь хорошенько, непремъщо долженъ найти.

Казакъ отправлялся «шарить», по обыкновенно всегда шариль безусивнию: вниа или совсемъ не было, или же казакъ, шаря, находилъ вино, но только это было не чуфурляръ-лафить.

Плескуповъ и этимъ довольствовался: опъ пилъ, что ему добывалъ казакъ, и говорилъ, что чуфурляръ-лафиту надо будетъ въ другомъ мѣстѣ пошаритъ. Впрочемъ, вся эта возия съ чуфурляръ-лафитомъ поднималась только тогда, когда мајору угрожало слушаніе газетъ.

Всв мы знали эту слабость нашего добраго мајора и порой его прадили, а порой ему досаждали: нарочно заводили съ нимъ споръ, доказывали, что въ наше время невозможно такъ вести двла, чтобы не читать газетъ, не думать и не соображать по ходу двлъ: чья будетъ горка? И въ тотъ разъ, съ котораго начинается мой разсказъ, мы были на этотъ счетъ очень упрямы: горе каждаго изъ насъ брало и досады много наконилось, и инчего-то нутемъ ингув узнать не можемъ, а тутъ еще этотъ чудакъ съ своими рацеями.

— Что тебѣ знать хочется? Себя знай хорошенько! Ума, что ли, очень много набралось, тяготить начало! Ступай за пригорокъ, высупь лобъ. Турокъ сейчасъ лишнее выпустить.

Мы его и принялись донекать и, можеть быть, нервый разъ за всю кампанію такъ пропекли, что онь ужъ не одного, а двухъ казаковъ послалъ шарить, какъ мы въ ту пору думали, нигдъ не существующаго чуфурлярь лафита, а самъ даже отошелъ отъ насъ въ сторопу. Но добрая душа его не умѣла долго сердиться, да вѣрно и опъ не всѣмъ быть доволенъ послѣ несчастливаго дѣла, выбравшись изъ котораго мы и досчитывали и половины своихътоварищей.

Нельзя было не чувствовать, что намъ жутко и горько, и Плескуновъ, понимая это, сдалъ тону: опъ верпулся къ нашему кружку, гдв жарился болгарскій баранъ, и теривливо слушаль наши сътованія.

Туть ему кто-то изъ насъ и молвилъ:
— Что же, Никаноръ Иванычъ, и теперь еще не ста-иете ли ругаться, что смъемъ считать себя несчастли-SHIMHS.

Онъ вздохимлъ и отвичаетъ:

-- Нѣтъ; что же ругаться: мы съ женой у Исаін про-рока читали, что «усталый и голодный на Самого Бога ронщетъ», стало ужъ этому такъ надо быть. Поругайтесь, поругайтесь. можетъ-быть вамъ отъ этого полегчаетъ; а какъ отлежитесь, да новдите, такъ можетъ и сдобритесь.

Но мы и на это не сдавались.

— Пофсть, говоримъ, — мы нойдимъ, а все при своемъ останемся, что не хорощо идетъ.

— Не хорошо-то, отвъчаетъ, не хорошо, и говорить исчего, а все еще повременимъ: чья будетъ горка?

— Да нечего, говоримъ.— и временить, когда уже видно: на чьей сторои горка, если все такъ будетъ.

— Ну, я еще этого не вижу, да и удивляюсь, въ чемъ вы это видите?

Тутъ наши политиканы и пошли:

— Какъ въ чемъ? говорятъ: — а во что вы ставите всё эти подыски всей Европы при коварномъ нептралитеть Беконсфильда, виляньяхъ Андраши и...

Словомъ, и пошли, и пошли. Все ему висчитали, чето оть кого ждать, кому не вбрить и чего болться. И свели опять къ тому, что нынче-де уже не тѣ времена, когда можно было во всемъ полагаться на силу да на отвагу, а пуженъ умъ и расчетъ, да капиталъ. Что капиталъ—душа движенія, и что гдѣ будетъ больше дальнозоркой сообразительности, тонкаго расчета и капитала, на тои стороив будеть и горка. А у насъ, молъ, и ни того-то, и ни этого-то, да и жиды одолели: и въ Лондоне жидъ, и въ Вене жиды, страсть что жидовъ, и у насъ они въ гору пошли-даже и кормить насъ подрядчикъ, женатый на Беконсфильдовой илемянниць, да и самые славяне-то, за которыхъ воюемъ, въ рукахъ вънскихъ жидовъ. Что же этого безотраднье: жидъ стратный человъкъ. — опъ все разочтеть, всъхъ заберетъ въ свои лапы и всъхъ опутаетъ.

Никаноръ Иванычъ и разсердился.

— Ну воть, говорить, -- еще что вздумаете: ужь и жидъ

у васъ сталь странный человъкъ.

— А разум'вется страшный, потому что онъ коварный, а коварство — большая сила: она какъ зубная боль, сильцаго съ безсиле приведеть.

А Никаноръ Нвановичь отвѣчаеть: — А мы зубную боль заговоримъ.

— Да, да; вотъ это развъ! Ну, такъ пошлите-ка казака «пошарить», гдв такого мастера, найдете?

- А что же, казакъ, разумфется напдетъ.

— Да; найдеть онъ ихъ, воть все равно какъ вашего чуфурляръ-лафиту.

- А что же: надо въру имъть и ждать, и лафиту до-

станетъ.

И что же вы думаете. Въ эту самую минуту, какъ нарочно, къ Илескунову обжитъ казакъ и подаетъ бутылку, а на бутылкъ надпись: «чуфурляръ-лафитъ». Даже самъ Никаноръ Ивановичъ смутился и спросилъ:

- Гдв ты это сперь, благодвтель?

А казакъ отвъчаеть:

Никакъ пътъ, ваше высокоблагородіе: у маркитанта

— Что же онъ прежде-то его не давалт?

— Давно, говорить, съ собой вожу, только подавать не смѣль, больно накостное.

Мајоръ отбиль горлышко, силесиулъ немного въ сторону,

попробоваль, и говорить:

— Хороню, братецъ, маркитантъ тебѣ правду сказалъ: винишко поганое. и и теперь вспоминять, что мой отецъ сто пиль совсьмъ не въ Турцін, а на Кавказѣ; ну да не въ томь дѣло; а это, господа, вамъ отвѣтъ: видите,—пошарить, такъ все найдешь. Я политики не читаю и споровъ не люблю, но инчего. чѣмъ вы мени пугаете, не боюсь. Спросите: почему? Отвѣчу вамъ: «по Инсанію». О Тирѣ сказано, что тамъ не будетъ горка, гдѣ «князья кунцы и гдѣ сильные земли барышничаютъ», а сила въ тѣхъ, кои «пе видали самоцвѣтныхъ камней и не завистны на золото». Оно такъ и бываетъ, какъ пророкъ говоритъ, и миѣ теперь приходитъ на намять одна исторія про самаго, что пи на есть каверзнѣйшаго, тоикаго израильскаго политика, который въ своемъ мѣстѣ всѣ пружины въ рукахъ держалъ

и во всемъ собаку съблъ, а запилъ такимъ чуфурляромъ, что и съ ума сиятилъ. И я, чтобы пе позабыть и чтобы васъ кстати немножко поразвлечь, пока баранъ сжарится, пожалуй, готовъ вамъ это разсказать въ видѣ притчи...

Тутъ всв и заговорили:

— Помилуйте, Никаноръ Ивановичъ, да когда же мы не хотимъ васъ слушать? ножалуйста, разскажите.

Никаноръ Ивановить и началь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Старый Схарія, про котораго я вамъ буду разсказывать, быль, такъ сказать, прирожденный политикь, ученый-преученый и притомъ святой, которому, казалось, все было открыто и само небо съ нимъ перешентывалось. По занятиямъ опъ былъ меламедъ, держалъ школу, гдѣ юпые сыны Израпля получали высшее направление на весь проснектъ жизни. Жилъ Схарія отъ меня всего въ полуверстѣ, въторговомъ мѣстечкъ, по тотъ бокъ австрійской границы; а славенъ былъ но обѣ ея стороны.

Схарія быль челов'єкъ старый и для своихъ м'єсть очень богатый. Состояніе онъ нажиль своею обшириою ученостью, святостью и илутовствомъ. Если бы вы знали еврся какъ следуеть, то не удивились бы, что все эти три венци въ немъ не только совершенно совмъстимы, но даже одна другую требують, а не исключають. Сколько именно было лать этому патріарху, я съ точностью опредалить не берусь, потому что, когда и, тридцать лътъ тому назадъ, поступилъ на таможню, Схарія уже быль меламедь, обучившій рядъ покольній, и тогда уже быль почти такъ же старъ и ходиль съ такою же сѣдою бородой, съ какою ходитъ и нынче. Только нынче онъ слыветъ безумцемъ и служитъ попошеніемь и посмышищемь для безумцевь, а до того анекдотическаго случая, который его такимъ сділаль, онъ быль у всвить въ почетв, въ ласкъ; онъ первенствовалъ на моленіяхъ, председаль на пиршествахъ и везде имель решающій голось. Какъ наисовершеничишій знатокъ закона п наилучшій его истолкователь, что бывало онь скажеть, то такъ и делается. Иынф же жизпь его пригодна только развъ па то, чтобы показать основательность словъ Псалмонъвца: «не хощеть Господь смерти гранинка». Но накогда было совсьмъ иное: ученая слава Схаріи была такъ велика, что

говорили, оудто ей завидовиль даже самъ каранмъ Фирковичъ. Святость Схаріи равиялась его учености, по славилась еще болье первой. Разумьется, это была та каверзная праведность и та убивающая духъ ученость, которыми огорчался нашъ Спаситель и за которыя возглашалъ: «горе

вамъ, горе и горе».

Схарія знать все, чрезъ что можно прослыть праведнымъ между евреями, и съ этой стороны быль для многихъ, и въ томъ числѣ и для меня грѣппаго, пеобывновенно интересенъ. Онъ жилъ весь по правиламъ, «почивалъ на закопѣ»: каждый часъ дня и ночи, каждый его шагъ и движеніе,—вее это шло такъ, чтобы могло возвѣщать его преподобность. Кто знаетъ, что значить соблюсти всю еврейскую обрядовую праведность, тотъ знаетъ, какъ это трудно. Я же, весь свой вѣкъ проведя съ евреями, могу вамъ это показать, хотя,

разумвется, только отчасти.

Наблюдая наказъ рабон Еліазара, Схарія просыпался до разевѣта, по какъ бы ему пи хотѣлось встать, опъ не вставаль и даже знака не подаваль, что онь проснулся, и такъ лежаль до тѣхъ поръ, пока его не побудить жень. Это такъ должна сдѣлать каждая воспитанная въ законѣ сврейка. И зато въ ту самую секупду, какъ жена его будила, онъ сразу же вскакиваль и на весь домъ кричалъ: «Благословенъ Богъ, одарпвній нѣтуха разумомъ, что онъ различаетъ день отъ почи», а нотомъ читалъ вслухъ: «Возстану рано». Все это дѣлалось такъ энергично, что всѣ въ домѣ проклинали «возставнаго рапо», но непремѣнно и сами поднимались. Схарія никогда не падѣвалъ рубашки сидя или стоя, а исправлялъ все это непремѣнно лежа подъ одѣлюмъ, чтобы сатана, подсматривающій за каждымъ евресеть, не увидалъ бы его чудеснаго тѣла и не вздумалъ бы самъ смастерить что-нибудь, если не совершенно такое, то, по крайней мѣрѣ, хоть подходящее къ сврсю. Схарія никогда не позабывалъ спуститься съ кровати непремѣнно правою ногой. Умываясь, онъ аккуратно обливаль каждую руку по три раза и вытираль лицо такъ сухо, чтобы не испарилась намять.

Пергаменть съ написанными на немъ словами изъ книгъ Монсея былъ у него обмотанъ волосами изъ телячьяго хвоста и снабженъ прикръпленнымъ къ нему ренейникомъ, который долженъ былъ колоть Схарію, если онъ задумаетъ

какъ-пибудь нарушить какую-нибудь изъ десяти заловъдей. Кололь ли его этотъ ренейникъ или иътъ, этого не знаю; но ноколоть кажетси, было за что. Свитки на дверяхъ дома этого законника были самые полномърные; ихъ всъ должны были издали видъть и понимать, что на домъ Схаріи снисходитъ безпрестанное благословеніе, какъ на браду Ааронову и на ометы его ризъ.

нову и на ометы его ризъ.

Пикто никогда не видалъ, чтобъ у Схаріи хранплище висѣло на ремешкѣ или оставалось не спрятаннымъ въ три коробочка, если въ той комнатѣ спала женщина; хранилище онъ надѣвалъ на себя, какъ только можно было отличать оѣлый цвѣтъ отъ голубого и носилъ до темноты. Въ школу Схарія не шелъ, а бѣжалъ, чтобы Богъ видѣлъ, что опъ «духомъ гонимъ». Его талосъ или мантія была изъ бѣлой шерсти, выпряденной еврейкой, и притомъ съ извѣстными приговорами. Молился онъ миого и долго, оборотясь непремѣнно на логъ, откула илетъ, мулрость, на посъ непремѣнно на югь, откуда идеть мудрость, а съ нею, разумѣется, и всѣ благополучія. Люди алчные и глупые молятся на сѣверъ, откуда приходитъ богатство, но Схарія, какъ Соломонъ, зналъ, что все дѣло въ премудрости. Онъ молился, всегда тщательно выровнявъ ноги въ первой помолился, всегда тщательно выровнявъ ноги въ первой по-зиціи, и качался, и трясся не щадя колінь, чтобы ангелы виділи, какъ сильно колеблеть его страхъ предъ Вездісу-щимъ. Моленья свои онъ сначала выкрикивалъ по-еврейски, а потомъ посылалъ особыя молитвы по-сирски и по-хал-дейски, чтобы ангелы, не понимающіе этихъ языковъ, не позавидовали тому, чего онъ проситъ у грядущаго Мессіи. Еще боліе тонкая осторожность нужна была противъ діатеме солъе топкая осторожность пужна обла противъ давола, чтобы этотъ хитрецъ не провъдалъ о прошеніяхъ Схарін и не новредиль ему: но это было предусмотръно: діаволъ пикогда не могъ узнать, чего проситъ Схарія, потому что діаволъ тоже по-сирски и по-халдейски не знаетъ, а обучиться этимъ языкамъ не можетъ, потому что учиться у человъка ему не позволяетъ его пустая «свинячья» гор-

Если Схаріи случалось плюнуть во время молитвы, то онъ дѣлалъ это невѣжество не плаче, какъ въ лѣвую сторону, чтобы не оплевать толпой на него любовавшихся съ правой его руки ангеловъ. Каждый день опъ возсылалъ сто благодареній, и такъ на виду у людей и ангеловъ пребывалъ въ моленьи почти весь день. Отдыхъ его начипался

только съ той поры, когда наступающія сумерки возвіщали, что Егора уже даль ангеламъ приказъ затворить двери и окна неба. Съ этихъ поръ, раз мьется, оттуда на землю уже пичего не было видно и потому чиниться было печего, да и продолжать самое моленіе не было пикакого расчета.

Но большая ученость Схаріи обпаруживалась не въ одномъ только богомоленіи,—ніть, она также была видна во всіхъ его житейскихъ поступкахъ: онъ развелся съ нісколькими женами по одному подозрівнію, что оніз пропсходять не отъ кевы, а отъ первой жены Адама, строптивой Лалисъ, и, подобно своей матери, склонны заниматься не одшимъ тімъ, чтобъ угождать мужу. Самъ же онъ пикогда не смотріять въ лицо пикакой сторонней женщині, хотя бы даже это была недостойная вишманія христіанка. Всіз были увірены, что онъ ни разу не видаль лица къ ряду десять літь служившей у него молчаливой и тупой хохлуши Оксаны, о которой я прошу поминть, потому что ей въ моей повісти

будеть своя роль.

Любя во всемъ ортодоксальный порядокъ, Схарія самъ подаваль въ немъ первый примеръ повиновения «Закопу»: онъ ломалъ хлъбъ не прежде, какъ расгопыривъ падъ нимъ всѣ свои десять нальцевъ, чтобы всѣ видящіе это восноминали о десяти «Божінхъ приказаніяхъ». Заботясь о правственности и о душѣ, онъ не забываль и гигіэну, для чего всегда завтракалъ рано, чтобы въ желчь его по пустому проходу не успали вскочить съ голодомъ тридцать шесть бользней, а объявя - посившие отделяль Оксань кусокъ отъ всякаго кушанья, имфющаго вкусный запахъ, способный возбудить въ человакъ анцетитъ. Дълалось это не изъ состраданія къ нетеривливости Оксаны, а для того, чтобы она отъ жадности не затряслась, какъ Исавъ, и не опрокинула другого блюда. Всв знали, что Схарія во всю свою жизнь никогда еще не уроният на поль ни одной крошки хліба, и строгій ангель Набель, приставленный смотріть за этимъ, ни разу не могъ сділать на него въ этомъ смыслів доноса по начальству. Къ ангеламъ Схарія наблюдаль большую осторожность и шикогда не клалъ ножа лезвеемъ вверхъ. Даже этого докучнаго наблюдателя, Набеля-онъ и того берегъ, чтобы онъ, вертись у стола, какъ-ниоудь не образался.

Схарія не умствоваль о томъ «чи все добре на світічи не все дюже добре». Боже сохрани! Опъ благословиль Бога за все, что понимать и чего не нонимать, потому что все устроено премудростію, даже тупая Оксапа и вообще всв прочіе дураки, такъ какъ они, по увъренію рабби Геноха, созданы для увеселенія умныхь, а въ числь такихъ умныхъ былъ, конечно, нашъ мудрый и ученый Схарія, котораго всв давно признали въ этомъ чинъ. И его двйствительно увеселяла сильная и глупая наймычка Оксапа, когда она позволяла колотить себя не только женв Схаріи, золотупиной Хавѣ, но и всѣмъ крошечнымъ ребитамъ Схарина отрождения. По огромной силѣ своей, съ которою эта Оксана молча и безъ отдыха ворочала въ домъ всъ тяжкія работы, она могла бы смахнуть и Схарію, и Хаву такъ, что инчего бы отъ инхъ не осталось, а она все сиосила безронотно и много содъйствовала тому, что Схарія могъ благоугождать Богу, благословляя Его, что Онъ создаль такую невъжественную дуру для удовольствія всёхъ дотакую невъжественную дуру для удовольствия всъхъ до-машинхъ такого ученаго праведника, какъ онъ, Схарія. Опытомъ убъжденный, какъ хорошо жить но «Закону», онъ даже спаль по «Закону»; для этого онъ всегда ложился на лъвый бокъ, на которомъ лежалъ Исаакъ, когда Авраамъ хотълъ заколоть его въ жертву Богу, и такъ Схарія почи-валь всегда, какъ готовая жертва. А чтобы еще болье уно-добляться Исааку, онъ всегда спаль нагой, безъ рубашки, и на кровати, обращенной непремьино головами къ югу, э погами къ съверу.

ногами къ съверу.

При такомъ радъніи о жить по «Закону», стия Схаріи миожилось и объщало ему славу въ потомствъ. Отъ пъсколькихъ браковъ у него были въ живыхъ и женатые сыновья, и замужнія дочери, и маленькія діти, а еще не мало ихъ было и на м'єстномъ кладбищь. Схарія любилъ дітей, даже и тъхъ, которыя были зарыты въ землю. Благочестивый отецъ и о шихъ заботился; онъ каждый годъ нанималъ ивсколько человікъ, чтобы тъ за нихъ постились, и нлатилъ за это каждому говъльщику, по крайней мфрв, по двадцати гульденовъ въ педфлю; а въ день разоренія Храма онъ самъ собственноручно клалъ на могилы дітей соль и муку и кричалъ имъ въ землю, чтобы они за то хорошенько о немъ молилися и выкликали ему столько повыхъ дітей изъ преділовъ пебытія,

сколько опъ прокормить можетъ. Словомъ, жизнь Схарін была образцовая и препочтенная: какъ настоящій містечковый натріархъ, опъ давалъ різнающій совіть во всіхъ трудныхъ ділахъ и, должно сказать правду, достоинство его совітовъ стояло чрезвычайно высоко и каждому припосило несомивниую пользу, а это ділало Схарію необходимымъ человікомъ, которому всякій охотно уступалъ долю въ гешефтахъ.

въ гешефтахъ.

Такимъ образомъ праведность была основаніемъ прочнаго благосостояція Схаріи, а благосостояніе опять давало ему средство еще болѣе увеличивать свою праведность. Онъ быль уже такъ прославленъ, что чтецъ спиагоги, обходя собраніе съ предложеніемъ купить право развернуть и носить кингу закона, хотя и выкликалъ: «Кто хочетъ купить Геліу? Кто хочетъ купить Ецъ-Хаюмъ? Кто хочетъ купить Хахбо? Кто дастъ болѣе?» но въ существъ чтецъ исполняль это только для формы. На самомъ же дълѣ опъ зналъ, что священныя права инкто другой откупить не можетъ, кромъ Схаріи, потому что никто за нихъ болѣе его предложить не въ состояніи. А потому только одниъ Схарія всета посилъ святокът закона, и лержалъ «дреко его предложить не въ состоянии. А потому только одинъ Схарія всегда посиль свитокъ закона и держаль «древо жизни», а его бликайшіе родственники имъли привилегію, ходя за нимъ, прикасаться къ этой свитынів, въ то время какъ ихъ ученый родоначальникъ, принявъ изъ рукъ кан-тора свитокъ, обносилъ его посреди умиленной толны. Ему канторъ давалъ серебрянымъ грифелемъ знакъ, когда вскри-чатъ: «возвеличьте Госнода!» На его зовъ весь народъ при-выкъ отвівчатъ: «Благословенъ Госнодь Богъ пашть, избрав-ний насъ предъ всіми иными народами», и надъ нимъ всегда произносилось благословеніе: «со всімъ его домомъ, гдів соблюдены всіз заповізди и гдів всякое задуманное пред-пріятіе должно быть благоуспінно». Поэтому всіз самыл ловкія контрабандныя предпріятія задумывались въ благо-словенномъ доміз Схарія въ тіз сумеречные часы, когда за-пиралось небо, и у него же хоронились ихъ копцы. Воть какой былъ Схарія поистиніз важный изъ важ-ныхъ человізкъ. Смістить его съ его высокаго положенія, казалось, никто не могь: всіз знали, что какъ ни подними

казалось, никто не могъ: всё знали, что какъ ил подними цену последняго урока «Закона» въ день Кущей, Схарія все-таки откупить этотъ урокъ и опять на целый годь оста-нется «женихомъ Закона». Ну, воть и посудите, какъ можно

было одольть такого тонкаго и дальновиднаго человька, и какой для этого быль пуженъ борець? А пришелъ часъ Схарін и разбило всю его мехацику громомъ, да не изътучи, а изъ навозной кучи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

По моей дозорной, таможенной обязанности я, разумвется, зналь всехъ окрестныхъ евреевь по обе стороны своей границы,—какъ нашихъ русскихъ подданныхъ, такъ и австріаковъ. Это нашему брату, таможенному, необходимо, потому что насъ всё стараются обмануть, особенно еврен. Это первые наши непріятели, и мы должны знать, сколько какая шельма изъ нихъ въ этомъ искусна. Свёдёнія эти у насъ, пограничныхъ жителей, собираются очень просто, такъ какъ граница для насъ вёдь, совсёмъ не то, что она для васъ и для всёхъ другихъ людей, которые ее видятъ разъ, либо два въ жизии. Вы когда перебзжаете границу, будто изъ одного міра въ другой переходите; а для насъ это просто дёло сосёдское. Мы смотримъ на границу безъ внечатлюній, а знаемъ только, что и у пихъ, и у насъ есть модвло сосъдское. Мы смотримъ на границу оезъ внечативній, а знаемъ только, что и у нихъ, и у насъ есть молодиы, которые нашего брата надувать хотять, и зато инкому не въримъ. Пограничная жизнь этимъ очень скверная: она тому способствуеть, чтобы не върить человъку. И мы хотя съ инымъ по виду и ведемъ дружбу, а все ему нальца въ ротъ не положимъ. Я даже удивлялея этому и нарочно себя пробовать: къ тещь съ женой повидаться въ воронежскую губерию вздилъ-и инчего: тамъ всвыт. въ воронежскую губерию вздилъ—и инчего: тамъ всъмъ върую. Ипой хоть и знаю, что илуть, а върю ему, и по дорогь вду—все върю; а какъ къ себъ на границу прівду—сейчасъ и отрѣзало: никому не върю. Право удивительно. Такъ тоже и съ этимъ съ праведнымъ Схаріей я былъ весьма знакомъ, и о пророкахъ любилъ съ нимъ толковать, потому что у меня жена большая до Писанія охотинца, по все бывало, знаете, говоринь про Данінловы седьмины, а самъ думаень, а когда же я тебя, пріятель, въ ровъ посажу! Потому что я зналъ, какъ этотъ праведникъ по всѣмъ швамъ плутней синтъ, и миѣ очень хотълось его сцапать. Разумъется, я его лично въ числѣ контрабандистовъ не замъчалъ; но намъ было хорошо извѣстно, что въ благочестивомъ домѣ этого «жепиха Закона» затъвались самыя дерзкія противь насъ предпріятія, и я большую охоту им'ять наказать его.

Надо вамъ знатъ, что у одного изъ зятьевъ ('харін, но имени Нахмана, на той сторонъ, въ Австрін, было что-то въ родь трактира, или кофейни, а, върнъе сказатъ, просто игорный пріютъ, въ которомъ страстъ какъ любили ръзаться и австрійскіе, и наши таможенники. Чуть имъ сво-

бодное время, уже они и тамъ.

Это такъ ило у пасъ много лътъ, и зять Схаріи наживаль съ своего вертена добрые грони, изъ которыхъ перснадала частица и Схаріи. Съ разваломъ нашей послѣдней польской рухавки и сборомъ нашихъ войскъ на границу гешефты Нахмана въ его игрецкомъ притонъ достигли неожиданнаго усиѣха; и австрійскіе, и наши офицеры, стоявшіе по границѣ, скучали отъ бездѣйствія, и все шныряли къ Нахману. Да опо и простительно: взаправду, вѣдь, очень

скучно!

Нашъ братъ стражникъ, который и въ мирное, и въ во-енное времи всегда воюстъ, опъ отъ всякой веселости отвыкъ мы какъ единъ разъ насупимся, такъ и живемъ насупись. Все удовольствіе наше развів въ картишки перекинуть, или въ церковь сходить помолиться. На бъду въ церкви у насъ дьяконъ изъ хохловъ былъ, очень темителенъ: голосъ имѣтъ козелковатый и произносилъ, гдѣ не надо, мягко, а гдѣ не надо, грубо. Очень непріятно. Затэжій же челов'якть съ городскими привычками, разум'ястся, могъ ли паннимъ простымъ житьемъ довольствоваться? А самое большее веселье, какое въ нашемъ мъстъ можно было получать, было за границей въ этомъ заведении у Нахмана. Наши чиновники давно еще когда-то хотвлибыло Австрію перещеголять, чтобъ у себя что-то гораздо лучие завесть, да ничего не вышло; сначала столопачаль-ингъ въ казенной палатъ долго не разръщалъ, а нотомъ вей товарищи перессорились, и съ твхъ поръ уже инчего не затввали, а ходили на австрійскую сторону, потому что тамъ какъ-го живве и развязиве. Инчего особеннаго, а какть только на ихъ сторону неревалинь, такть сразу въ-мысляхъ другое ощущение и фантазии больше: издали слы-шите, какть то кетли катаютъ, то жидки тамъ на илатформф сидятъ, разныя пьески наигрываютъ,—и недурно, канальи, паръзываютъ. Тутъ сейчасть и ресторанъ, и кафе, или эти арфисточки, а у насъ только развѣ и услышишь какъ ктонибудь съ досады крѣпкимъ словомъ обругается. Всего четверть версты черезъ лощинку и перскатишь,—но люди живутъ пиаче —хоть не важно, а припъваючи. Разумъется,

гдъ веселъе, туда и манитъ.

Какъ понавхали къ намъ по случаю польскихъ дъль военные, такъ и началось у нихъ болганье на ту сторону въ Нахмановъ трактиръ. Консчно, бродижничать этакъ за границу дѣло незаконное, но дѣлалось все это будто подъ секретомъ, а къ тому же: кому до этого и надобность, если съ той стороны не претендуютъ? А австріаки же насчетъ вѣрности хотя народъ самый сомнительный, но очень обходительны со всякимъ; жалуй къ нимъ сколько хочень, они компанію дѣлить любять. Такъ, бывало, наши офицеры сшимутъ здѣсь съ себя сабельки и пдутъ на австрійскую половину и рѣжутся тамъ съ австріаками къ трактирѣ, кто на бильярдѣ, кто въ кегли, а иные и въ карты. Картежная игра длилась, бывало, иногда но цѣлымъ суткамъ. Все это игло семейно,—особенно какъ австріакъ въ это время по случаю митежа съ нами заодно дѣйствовалъ, и сближеніе панихъ офицеровъ съ австріацкими, по всей вѣроятности, было даже желательно.

было даже желательно.

Теперь же нужно вамъ знать, что у австріаковъ, на ихъ сторонѣ, былъ одниъ компссаръ изъ поляковъ, самый невъроятный картежникъ. Такой былъ страстный пгрокъ, что я всегда удивлялся: какъ ему могли довърять казенныя деньги и имущество. Но овъ, шельма, такой корень у себя имѣлъ, что изъ рукъ въ руки перепускалъ. Нынче его горка,—онъ на парѣ лошадей взадъ и впередъ катаетъ и тогда добръ, всѣхъ угощаетъ, а завтра горка другому досталась,—компссаръ самъ у другихъ кушать проситъ. Не игралъ онъ только тогда, когда было или совсѣмъ некогда, или совсѣмъ не на что, или совсѣмъ не съ кѣмъ. И когда это случалось, потому что противъ его пгрецкой пеутомимости никто не могъ выдержать, то ходитъ онъ, бывало, какъ въ воду опущенный и отъ скуки все въ рукахъ карты тасуетъ. Я въ призоры очесъ, по правдѣ сказать, пе върго, но говорили о немъ, что онъ будто такимъ манеромъ иснорченъ, и вдругъ на этого-то испорченнаго наскочилъ съ нашей стороны человѣкъ, должно-быть, уже совсѣмъ пере-

порченный: насийль оть насъ компесару такой компаніонь, что даже еще превосходиль его и въ постоянства страсти, и въ пеутомимости. Быль это нашъ армейскаго пелку мајоръ Аоанасьевъ, который и подалъ поводъ къ Схарінной погибели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Армейскіе маіоры, какть изв'ястно, большею частію бывають меланхолики, все думать любять. Ливеть челов'ясь вы молодыхъ чинахъ, все фантазируеть, а ехватить маіорство и задумается. Можеть это оттого, что имъ въ этомъ чина предъль положенъ, его же не прейдении. Оттого они мрачны и не веселы. И маіоръ Аванасьевъ тоже быль не веселаго права и словно «отыгрывался» отъ какого-то червя,

который пеустанно глодаль его душу.

И аветрійскій комиссарь, и нашь маіорь духомь другь друга почулли и чуть только ихъ свели, какъ ужь ихъ и водой разлить стало невозможно. Афль боевыхъ на ту пору пе было, а въ междучасіе огрядомъ маіора у пасъ, но всеобщему рессійскому обыкновенію, правиль его помощникь, а онь, бывало, только на ивкоторый чась домой появится, и если горка на его сторонв, то поблестить своимь выигрышемъ и опять улизнеть за границу въ Нахмановъ игорный домъ, и тамъ и режутся, нока или тотъ или другой оберугь другь друга до-чиста и, осоловівь, выходить отдохпуть, какъ мученики послъ истязанія. До чего опи допгрывались, про это и разсказывать пельзя: деньги ихъ въ цьмомъ составъ всей наличности безпрестанно переходили отъ одного къ другому, по все это не такъ замътно, нотому деньги вещь миніатюрная, а главный курьезь происходиль съ громоздкими движимостями, передвижения которыхъ скрыть невозможно. У комиссара, напримъръ, быть фортеніапчикъ,—хорошенькій и большой фортеніапъ, пастоя-цій рояль, на которомъ опъ не ум'ять пграгь и никогда не пграть, а имкть его Богь знаеть но какому-то особому случаю, —въроятно за самую дешевую цѣну съ аукціона достать, да была еще охотинчья собака, легавая; а маіорь прівхаль на пама ви местечко ви польской брички па своей нарв лошадей. Воть эти фортеніань и оричка и баланспровали: какъ денежная наличность у игроковъ кон-чится, они сейчасъ и начинають двигать эту свою движимость. И мы уже и счеть нотеряли, сколько разъ эти фортеліано и бричка съ конями переходили у нихъ изъ рукъ въ руки. Переходила ивсколько разъ и собака, но ей скоро наскучило мвиять хозяевъ, и она спачала обоихъ ихъ пекусала, а потомъ, когда они оба се за это выпороли, она ихъ обонхъ бросила и сбъкала.

обонхъ бросила и сбълала.

Разумвется, звърь умный, съ такими пустыми людьми жить не захотъла. Ну, а остальное все индо своимъ иравимомъ: то нашъ мајоръ повдетъ въ бричкѣ, а возвращается съ налочкой, то опъ идетъ, а за инмъ тащатъ фортенјано, и стоятъ они у него, ири его квартиръ подъ сараемъ, и только намъ докучаютъ, потому что ключъ отъ инхъ въ этихъ неревздахъ потерялся, и какъ они стояли разния ротъ, то но инмъ все, бывало, жиденята нальцами тяпкаютъ. Игратъ на нихъ у насъ инкто не умѣлъ, кромѣ какъ одинъ наинъ таможенный дъяконъ. да и тотъ только хвалился, что будто умѣетъ, а на самомъ дѣлѣ всей его игры было, что могъ одинмъ нальцемъ подбирать «аллилуйо», да Царю Небесний. Тюкаетъ съ угра до ночи и подпѣваетъ. Бывало страиню надовстъ этимъ, а попросить его лучие что-нибудь свътское, такъ онъ еще хуже затянетъ:

Скука прелубэзна Серцю принолозна.

Серцю приножана.

Совских тоску наведеть, и мы всегда очень радовались, когда нашь маюрь пропрывался и фортеніано онять вы лестрію увозили. И шла такая азартная штра безъ отдыха и безъ нерерыва, съ постояннымъ переходомъ однихъ и тъхъ же фондовъ изъ кармана въ карманъ, а въ чистыхъ отъ нея прибыткахъ были один Нахманъ да Схарія.

Но какъ и комиссаръ, и маюрь оба были люди служащіе и ни одному изъ шихъ пельзя было не держаться на чеку по своимъ обязанностямъ, то надо было устроитъ для этого благонадежную почту. Дъло было не совскить удобное,—одкнао устроили: если комиссаръ на нашей сторопъ, а дома въ немъ надобность, къ намъ бъжитъ за пимъ кургузый цесарецъ въ курткъ, а наши за своимъ штрокомъ казака фомку посылали. Казакъ фомка былъ мужикъ здоровый, краснощекій, находчивый и расторопный, но шельма чищеный. Маюръ хорошо узналъ его и говорилъ, что опъ человъкъ очень надежный и службистъ. Былъ такой случай, что этотъ фомка Ананьевъ или Канальевъ при разгромъ

одного опальнаго дома увидать, что простодушные армейское солдатики присъти около суповой чаши, горяченькаго похлебать, онъ сейчась это искорениль:

Разв'я, говорить, — это можно? а можеть-быть это отравленное!— и чтобы споровъ не было, сейчасъ же чашу разбиль объ уголь, а серебриныя ложки себ'я въ карманъ сприталъ.

—— Это, говорить, отъ грѣха убрать надо, чтобы моло-дые некрута не баловались. Словомъ, Оомка быль человѣкъ, который обладалъ воен-HEAT TARTOML.

Военный такты казака Ананьева и особенно рекомендую вашему винманию, потому что мив придется из этой истории неставить еге супротиим тонкаго, талмудическаго такта ученаго Схарін. Служба нашего Оомки, разум'встей, была гораздо трудиве службы цесарца, потому что комиссарты бываль у насъ радко, а нашть майоръ сидбать на той сторон постоянно. Потомъ у австріаковъ по вс'ямъ должностимъ мало иншугъ, а у насъ на это больше аккуратности и всякому офицеру постоянно надо что-ипбудь подписывать. А потому нашть землячокъ Ананьевъ безпрестанно н имыгалъ за границу къ маюру, то одно подписать, то другое, — чаще всего съ «рапортичками». И всегда казачокъ въ этихъ пофадкахъ былъ исправенъ и благополученъ: только надало кой-кому въ примъту, что онъ на возвратномъ нути изъ Австрін точно какъ будто выше ростомъ на съдлѣ дълался: иногда, бывало, точно каланча движется. Ну, а пріъдетъ домой, сивинтея, разберетея, и онять въ свою мъру войдетъ. Я его даже разъ или два объ этомъ справителя. ишвалъ. Отвъчаетъ:

- Никакъ ивтъ, ваше выскобродіе, это такъ только показывается.
- Ты, можеть-быть. говорю, подбадриваенься этакъ чтобы молодцоваты высматривать.
- Это точно такъ, отвъчасть, я хорохорюсь, чтобы чужой народъ на насъ днвовался, и подъ нану державу желаль, а вирочемъ... ни Боже мой!

Казакъ былъ смътливый, зналъ, на что я намекалъ, ну

н уввряль меня крвико.

- Вотъ кресть, говорить, - на себя кладу, что фажу Tectilo.

— То-то, моль, ты номии, что это земля чужая и что нашь государь тенерь съ ихъ цезаремъ въ дружбѣ,—такъ и мы этою дружбой должны дорожить, а не то чтобы какую худую славу на себя класть.

— Помилуйте, утверждаеть,—нешто мы деревенскіе мужики, что этого не понимаемь, или не можемь политику

чувствовать.

И знаете, ножалуй, по-своему онъ это и чувствовалъ, по только, тъмъ не менъе, въ его владъни скоро стали обнаруживаться разные странные запасы, происхождение которыхъ онъ объяснялъ не совствъ въроятно; но въдь что же, кто не пойманъ, тотъ не воръ, это вездъ такое правило, особенно на боевомъ положени. По вотъ доходитъ до меня слухъ, что на той стороиъ бабы-хохлушки обижаются, будто Оомка-политикъ, проъзжая но лугу, гдъ стадо наслось, соскочилъ и сталъ корову въ киверъ донть; а пока на него дивовалися, онъ взялъ да и другую выдоилъ.

Я его этотъ гръхъ покрылъ и объщался даже мајору не

разсказать, если признается. Сомка признадся.

— Точно такъ, говоритъ, — виповатъ, опшося: я думалъ, что съ нашей стороны корова; въ грудяхъ очень тяжело чувствовалъ. —Знахарка, въдьма, научила: молочкомъ, сказала, смягчитъ. Послушалъ ее, лукавый и попуталъ, коровкой опиося.

— Ну, смотри же, говорю, —чтобы больше тебя не нутало.

— Вотъ вамъ Христосъ, отвъчаетъ, — я этой знахарки пе стану теперь слушать, и киверка больше не буду, одбвать, въ фуражив стану вздить.

— II прекрасно, говорю, — оно даже такъ и лучше будеть: то въдь не наша земля, ъзди-ка въ фуражкъ. Неза-

чемъ тамъ киверомъ махать и соблазну не будеть.

— Убъдительно благодарю, говорыть, - ваше высокобла-

городіе, радъ стараться.

И и оставилъ. Что же, казакъ въдь не красная дъвунка, — его много-то никогда не сконфузишь и не передълаены; у него природа такая, что онъ не рохля, не ротозъй, любитъ, чтобы мимо его ин итица не пролетала, ин звърь не прорыскивалъ, и инчто не убранное не валялось. Вотъ эта-то казацкая споровка и была причиной одного казуспаго столкновенія нашего фомки Анацьева съ казуистомъ Схаріей. Случай нопуталь нашего казака на той стороив рыжею козой, которая принадлежала какой-то еврейкв. Была эта коза непокорна къ доенью — брыкалась, а казакъ вдетъ и увидълъ черезъ заборъ, что коза отбрыкнула и опрокинула мідную доенку, а молодая еврейка заплакала. Онъ и сжалостьися, остановиль коня и говорить:

— Постой, постой, евресчка, -- не скучай, и гляди, только

титыкь не сказывай, а и тебь эту козу выучу.

И съ этимъ прыгнулъ черезъ заборъ, свистнулъ брыкливую козу нагайкой, такъ что та и голосъ дать позабыла, и туть ме подпихнулъ ее куда-то вею подъ съдю, такъ что развъ только ножки да рожки наружу оставались, а кстати захватилъ и доенку, сълъ и повхалъ.

Еврейка только посл'в его отъбада догадалась кричать; собжались соскди, бросились въ погоню и пагнали Ананьева, потому что онъ по своей политик вхалъ не сп'виа, тихонечко, да и доенку-то, разбойникъ, наружи держать.

Нагиали его евреи и причать:

— Ты зачемъ это взялъ? – а сами за доенку кватаются.

— А что, развъ это ваше?

- Разумъется, наше.

— А ваше, братцы, такъ свое берите; мив Богъ съ вами съ вашимъ добромъ; мив чужого пе нужно.

И онъ возвратиль великодушно досику, а самъ ускакалъ,

прежде чимь о козв усибли ему слово сказать.

Вноследствин онъ объясниль, будто потому не воротиль

козу, что ся у него не спранивали.

— А я, говорить, — но ея виду думать, что она дикая, а не свытская, и приколодь ее дома, нотому что мив шкурка на потничекъ подъ съдло надобилась.

Такъ эта коза и пронала, но зато съ той норы пошли больние разговоры. Иронажъ оказывалось много и у евресвъ, и у крестьянъ. Хохлы-крестьяне, вирочемъ, что за люди,—пхъ можно и не очень слушать, а вотъ евреи, это другое діло; они какъ загалдитъ, такъ ихъ надо скоро усноконть. А какъ усноконть?

Чтобы не вздиль туда больше Ананьевь? Такъ; но маюрь говорилъ, что у него ивть такого другого растороннаго человька: не будетъ взды Ананьеву, — не будетъ маюру покоя пграть по цвлымъ днямъ въ карты; не будетъ пгры—не будетъ самаго лучшаго генефта Нахману, будетъ боль-

шой убытокъ и сму, и Схаріи. Какъ туть быть, какъ выверпуться? Нельзя же дать пропасть хорошему гешефту!

А на что это есть на свът ученый Схарія: онъ должень пайти средства, какъ сділать, чтобъ и овцы были ціли, и волки сыты!

И воть явились къ Схаріи и Пахманъ, и его поставщики и говорять:

Ты, Схарія, самый умный, думай и скажи намъ, какъ

это сділать.

Схарія почесаль себѣ затылогь, много разъ помотавъ предъ посомъ нальцами, и сталь думать. Думаль онъ, думаль и объявиль, что «будеть еще думать», упель въ завѣтиую хороминку, часа три и слуху оттуда не подаваль, а потомъ выслаль къ публикѣ жену объявить, чтобы шли сбѣдать, потому что онъ будеть еще очень долго думать. Тѣ сходили домой, пообѣдали и онять верпулись, а Схарія еще думаль. И наконецъ уже въ сумерки, когда уже ин у кого болѣе и териѣпія не оставалось ждать изреченія Схаріи, Хава выглянула въ окно и дала рукой знакъ, чтобы все было тихо. Все и затихло, а тогда она сообщила имъ попотомъ и подъ большимъ секретомъ, что Схарія такъ епльно задумался, что ничего не слышить. Она ему уже и кричала, и пантофлю съ него сияла, но онъ ничего не слышить.

Призадумались евреи и разошлись.

ГЛАВА ИЯТАИ.

Во велкомъ дълв, господа, не исключая и нашего теперешниго боевого поля, если откуда ждутъ извъстій, а ихъ долго нъть, это не хорошо. Хотя худое извъстіе, да поданчое во-время и съ искренностью, все лучие,—истома хуже смерти. Такъ и тутъ, когда Схарія нозамънкался изпесть глаголь, это не хороно повъяло.

Зачемъ опъ медантъ? Не заколодило ли ему?

А Схарін, дъйствительно, заколодило и притомъ по всёмъ правиламъ, съ чъмъ-то таинственнымъ, съ какою-то кабалой.

И не смію донытываться, кто нав васъ вірующій, кто невірующій. Разумістся, я говорю про віру въ ті вещи, которыя еще мудрецамъ не сиплись, а если и сиплись, то не объясимлись. Смівітесь надо мною, если вамъ угодно, я человіть малообразованный и обижаться не стану, ну а

только по-мосму этакія вещи не только существують, а воть одна изъ нихъ — это спы. Что вы мив ин говорите, а я спамъ върю и не перестану върить, и основаніе къ тому LAPRIO.

Схарія, въроятно, прозябъ и усталь, а потому какъ съль обдумывать, что сдълать съ казакомъ, чтобы опъ попрежнему вздиль, по пикого не трогаль, такъ и самъ не замътиль какъ заснуль. Но что опъ за тяжкія претеривваль при этомъ мученія. Видить опъ предъ собою кингу Закопа и уже быстро разогнуль ее и хочеть читать завѣтное мѣсто у Даніпла, какъ вдругь откуда ни возьмись кто-то рыжій закрыль кингу рукой и говорить: «Я ее запечатліваю». Сказать такое слово благочестивому еврею, это діло ужасное. Нослів этого опъ не можеть молиться до тіхъ поръ, нока признасть себя парушившимъ заповіздь противъ ближняго и выпросить себі у него прощенія. Схарія остолбеньть оть такой наглости! Кто могь быть этоть дерзкій, корый удраль ему такую штуку? Никто шюй, какъ Когань ивль оть такой наглости! Кто могь быть этоть дерзкій, корый удраль ему такую штуку? Ишкто шюй, какъ Коганъ Палюма, которому давно хочется быть святье Схаріи и перекупить у него Геліу. Схарія видить его дерзкую руку, обернулся, по Шліома уже исчезь. Схарія въ синагогь; ноднять книгу Закона вверхъ объими руками, такъ высоко, чтобы всь ее видьли, и, прохаживаясь съ нею при общемь одобреніи, громко выкрикаеть: «Вогь законь, который Монсей даль дътямъ Израилевымь!» но вдругь ко всеобщему ужасу зашатался и урониль книгу Закона на поль, — эго второй знакъ ночти уже неотвратимаго несчастія.

Не обошлось и безъ третьяго. Схарія дома; собраль на школьный дворъ множество мальчишекъ, даль каждому изъ пихъ по гропу и по деревянной шикъ и заставиль ихъ какъ можно громче кричать и махать инками, чтобы про-

пихъ по гроппу и по деревянной шикъ и заставилъ ихъ какъ можно громче кричать и махать пиками, чтобы прогнать дьявола, явно строящаго ему каверзы. А самъ вошель въ комнату, горя желаніемъ узнать: хорошаго или худого долженъ опъ, послѣ такого крайняго употребленнаго имъ средства, ожидать себѣ въ будущемъ, и сталъ съ этою цѣлью разсматривать надъ свѣчой свои руки. Но у инхъ пропала тѣпь! Испуганный Схарія бросилъ свѣчу и поситьшно выбѣжалъ нагой на крыльцо, чтобы при лупѣ вериуть себѣ тѣнь отъ Авели, по луна вдругъ вся потемиѣла и какъ будто упала съ неба.

Хуже этого инчего не можетъ быть на свѣтѣ, такъ какъ

самые знаменитые раввины въ одно говорять, что исчезновеніе твии знаменуеть неизбъяную погибель, и это върно, потому что основано на Монсеевомъ словъ «и тъщ своей

не узрите».

Столь быстро, кажется, пикто не надаль въ своихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ всего общества, какъ надалъ Схарія. Осталось посл'єднее средство: до зари испов'єдывалъ Схарія свои гр'єхи, стоя не на земл'є, по которой ползалъ райскій зикії, а въ тазу съ водой, и потомъ взялъ б'єдаго п'єтуха, а Кав'є далъ нас'єдку, и оба они долго вертіли этихъ птина около своей головы. П'єтухъ и

курица громко кричали, а Схарія выкрикаль:

— Пусть этоть истухь будеть жертвой за мой грыхы; пусть онь заслужить мив хорошую награду! Пусть какъ машеть этоть истухь крыльями, такъ машуть крыльями и нерелетають вокругь меня съ мёста на мёсто ангелы. Пусть улетають заме и садятся вокругь моей головы на ихъ місто добрые! И пусть этоть истухь умреть за меня на этоть годь, а я буду жить, и Хава будеть жива и будеть меня слушать съ одного раза и будеть у насъ съ нею всякую недёмо гуть-шабашь...

И онъ протицулъ руку и дерпулъ Хаву за руку, велѣлъ ей сварить и ивтуха, и насвдку; внутренности жертвенныхъ птицъ завязалъ въ узеловъ и положитъ на крышу дома, чтобы вороны унесли ихъ съ глазъ. Такъ Схаріей было сдвлано все, что можно было сдвлать для отвращенія грозпой судьбы, и онъ слышалъ уже, какъ, прежде чвят началась вечерияя молитва, два раввина разоять въ одинъ голосъ начали восклицать ему публичное прощеніе. Но въ это самое время досадительная Хава разбудила мужа.

Небесный сводъ уже альль; занималась заря, съжая мартовская заря, предъ днемъ Нурима, торжественнаго празднества въ намять нобъды Мардохея надъ Аманомъ. Это лень, когда каждому благочестивому еврею не только разрышается, по даже выбияется въ обязанность инть до тёхъ норъ, пока онъ будеть не въ состояни отличить Амана отъ Мардохея.

Это не только день радости, по и день чудест, когда еврею сходить съ рукъ все, что бы окъ ни сдълалъ. Писано, что ксгда два знаменитыхъ равенна, Рабба и Спро, сощансь въ этотъ день, чтобы вмъстъ униться до несно-

собности различить Амана оть Мардохея, то раввинь Рабба принять за Амана раввина Сиро и убить его, и уложить нодъ лавку, по и это инмало раввину Сиро не повредило, потому что когда раввинъ Рабба о немъ номолился, то Спро сио же минуту ожить и такъ шпоко убъкать изъ-подъ лавки, что Рабба не могъ его догнать и даже совсёмъ его не вильять.

Въ этотъ день еврей безонасенъ отъ вскуъ бъдъ, а нотому Схарія не боялся даже своего в'вщаго спа, который до зари пугалъ его целымъ рядомъ последовательно раз-

вивающихся злыхъ предзнаменованій.

Схарія всталь бодро, мастерски вынотрошиль рыбу, которую должень быль самъ приготовить, и пошель въ синагогу, гдв должень быль объявить, какъ поступить съ каза-

комъ, чтобы онъ вздить, но пикого не тревожилъ.
Отвътъ этотъ, по своей простотъ и краткости, отдавалъ чвиь-то библейскимь; онь весь состояль въ томь, что пусть казакъ вздить, по пусть онъ оставляеть лошадь гдв-инбудь со въвзда и ходить черезъ мъстечко ившкомъ; а главное, чтобы онъ не сивлъ ин къ кому обращаться ин съ какимъ словомъ. Тогда ему нельзя будеть инкому грозить, инкого пугать, и инчего онь не уложить себв подъ свяло; а между тымь комиссарь съ мајоромъ будуть пграть, и двла въ трактирь Пахмана не остановятся, и всвых будуть идти добрые гешефты.

Иланъ былъ очень хоронъ, и его одобрили всв еврен, и комиссаръ, и нашъ мајоръ, который немедленно же отдаль вь этомь смысль точный приказь Ананьеву и загымь

закатиль самь на ту сторону отыгрываться.

Кажется, даже самъ Ананьевъ, котораго это встхъ прямве насалось, и тоть быль этимъ доволенъ, и съ великою клятвой присягаль мајору, что все то неполнять.

— Ей-Вогу, -- сказаль онъ: - я, ваше благородіе, даже радь, что этакъ уже по крайности съ меня вся напраслина синмется. А мив что съ инми говорить? Богъ съ инми со-всвиъ; нешто мив, кромв ихъ, не съ гвыъ поговорять? Я и на своей сторонв поговорю.

Такъ большимъ и тенкимъ динломатическимъ умомъ Схаріи быль улажень, ко всеобщему удовольствію, этоть казусный вопрось, и Схарія, прекраспо проведя канунь веселаго праздника, пошеть держать съ своей Хавой опочивъ, который долженъ былъ дать ему силу и крипость потрудиться завтра въ честь побъдительнаго Амана и за столомъ, и за молитвой.

Но какъ въ старенькой ивсенкв ноется: «чго на счастье прочно всякъ надежду кинь», то этою почью, когда Схарія улегся но всвиъ правиламъ талмудической науки и спалъ нагинюмъ и на лъвомъ боку, изображая собой Исаака, положеннаго на жертвенникъ, сму опять привидътся тотъ же зловъщій сенъ вчеранней ночи и повторился во всъхъ мельчайнихъ своихъ подробностихъ.

Это Схарію смутило тімь болюе, что какъ ин точны на всів случан жизни указанія раввиновъ, но такое буквальное повтореніе спа ими, вітроятно, не было предвидіно и во всей обинрной науків Схаріи не было рецента, какъ поправить это діло, да и не было уже времени его поправить; зари Пурима восходила, и Хава, соблюдая свой супружескій долгь, возвіншала объ этомь толчкомъ въ бокъ своему супругу.

ГЛАВА ПІЕСТАЯ.

Начался веселый Пуримъ; какъ подобаеть по написан-ному и по нереданному д'ядами, всё пришли утромъ въ синагогу, мужчины и женщины, причемъ почти каждый -ахвалиль съ собою пожичекъ, гвоздь и молотокъ или колотушку. Каждый тотчась съ прихода сифииль нацаранать гдф-ньбудь на видпомъ мфств, на стфив или на чемъ другомъ, има Амана для того, чтобы потомъ во время чтснія книги Эсопрь «бить Амана», --то-есть колотить по его вынарананному имени, нока оно изгладится. Канторъ проивль громко исповедь, прочитавъ урокъ изъ книги Закона; Схарія, который старался скрыть свое смущеніе, откупить право обносить носреди синагоги Законъ, и всё сыны Израиля целовали на рукахъ его священный свитокъ. После этого чтецъ зачиталъ книгу Эсопри, и при первомъ же звукъ «Аманъ» но спнагогь раздался оглушительный стукъ молотновь и колотушекъ, которыми благочестивый народъ усердно изглаживать пенавистное ему имя. Схарія, какъ извастный законникъ, дъйствоваль всахъ ретивае. Опъ выгравировать предъ собою имя Амана круппес и глубже. чемъ всв другіе, и съ перваго же раза удариль по немъ

такъ ожесточенно, что случилось самое ужасивйшее изъ ужасныхъ происшествій: больная, надожная колотушка Схаріи сломалась въ самой рукояткъ, и ненавистное имя Амана оставалось во всемъ своемъ очевидномъ значенін пензглаженнымъ. Рыжій-таки запечаталь его кингу...

неизглаженнымъ. Рыкий-таки запечаталъ его книгу...
Это былъ скандалъ невъроятный и примъта самая скверная; порядокъ моленья нарушился; неизглаженнаго Схаріей Амана должны быль добить другіе, что они и исполнили съ ожесточеніемъ общими сплами, но, тъмъ не менъе, Схарія былъ странию униженъ и сконфуженъ. Все обаяніе его сразу нало въ прахъ во мифиін мятежнаго народа, который легко бунтовался даже противъ самого Монсея. И Схарія видъль это и не удивлялая; предзнаменованіе было слишкомъ злоэто и пе удивлялся; предзнаменование обло слишкомъ зто-въщее, чтобы строго религіозный человъкъ не отшатнулся отъ того, надъ къмъ такъ видимо тяготъстъ какое-то укас-ное указаніе. Всъ сказали себъ, что Схарія върно чъмъ-нибудь безъ мъры тякко согрышилъ и что опъ пепремънно долженъ погибнуть. Всъ отъ него отшатнулись, и кучки гу-ляющихъ въ приздинчномъ уборъ удалились отъ его дома, какъ оть зачумлениаго.

Ноложеніе было псаломское: Господь удаляль отъ Схарін и друга, и искрепняго, и пріуготовляль его быть въ мерзесть себъ самому и въ поношеніе людямь.

Если изъ васъ кто-пибудь такъ счастинвъ, что уже нереходиль въ жизни полосу, когда человѣкъ весь видитъ себи въ рукѣ какой-то пеодолимой власти, которая сто мнотъ и тяготитъ, то вы можете понять это положение, а если вы еще сыры и не паучены доброму смыслу и вѣдѣнию, то вы и не ноймете, какъ въ подобныхъ случаяхъ человъкъ удивительно одурѣваетъ и начинаетъ самъ лѣзтъ на свою погибель. Все это и продълаль надъ собою въ совершенствь Схарія.

вершенствъ Схарія. Мучительное сознавіе отверженія терзало его, но опъ отправляль праздникъ по установленію и усердно старался привести себя въ такое состояніе, когда благочестивый еврей перестаетъ отличать Амана отъ Мардохея. Досиввая къ этому, Схарія частенько подходиль къ укрівняенному въ уклів ноставну и нослів каждаго стаканчива отходиль къ окну, растоныриваль предъ собою обів руки и считаль нальцы; но хмель быль не разымчивъ и число нальцевъ все оставалось одно и то же: на двухъ рукахъ и теперь,

въ Нуримъ, все было десять нальцевъ, какъ будто въ са-

мый простой день.

Съ конхъ поръ Схарія себя номниль, съ пимъ этого еще никогда не случалось. Не худо ли было винцо въ баклажкв, но каждый Пуримъ онъ принасаль себв одно и то же винцо, которое чорть его знасть почему называется «розенвейнь», хотя состоить просто изъ смвен коньяку и воды. Проще сказать, по-нашему это ополоски, которыми ополаскивають бочки изъ-подъ красныхъ французскихъ винъ, подправляють коньякомъ и продають жидамъ, а тв пьють и дуржють. Въ былые годы Схарія отъ этого розенвейна видіять у себя на двухъ рукахъ нальцевъ но двадцати, и теперь чъмъ туже это давалось, тыть онъ сильнее этого добивался. Онъ вышиваль и, вышивая, расхаживаль по комнать и размышляль: за что такъ разгиввался на него Всесильный и въ самый Пуримъ отдалъ его въ посмвине певвидамъ? Если онъ. Схарія, чёмъ-нибудь и согрышиль больо или менье тяжко, если онъ даже когда-пибудь, садясь за столь, нозабыль выпыть руки, то вёдь и это можеть быть изглажено въ такой праздникъ. По сколько же у него, Схарін, есть зато заслугъ и святыхъ двлъ? Не онъ ли, Схарія, всю свою жизнь подстерегаль всф грфхи христіанть, выставляль ихъ на видъ своимъ старцамъ и дътямь и лучие всвув успоконваль ихъ совъсть въ разръщении всякихъ присягь, клятвь и объщаній, данныхъ христіацину? Не онъ ли вредилъ христіанамъ пеупустительно всегда и чімъ только могь? Не онъ ли доказываль, какъ бъдна и инчтожна христіанская віра, какъ она ничего не дасть своимъ на земль, гдь опи до сихъ поръ еще не научились, чтобы другь друга поддерживать, а въ будущемъ даже и не объщаеть имъ инчего такого, что бы могло сограть внутренность? Какъ осивательно опъ умаль представить награды, которыя ждуть вфриыхъ евреевъ. Опъ умель научать всёхъ воть именно въ этотъ веселый праздпикъ Пуримъ забывать вей притеснения и бъдствия, которыя они несуть отъ непавистныхъ христіанъ. Самаго песчастнаго и бъднаго онъ приводилъ въ расположение мечтать теперь о хорошемъ инвъ, о крънкомъ винъ, о рыбъ Левіаванъ и о большомь быкв, котораго насуть ангелы и дають ему въ день траву съ тысячи горъ.

Сердце Схарін сохло и внутренность его требовала ро-

зенвейна: онъ подошель къ поставцу и сразу налиль два запов'йдвые сосуда: узкодонный бокаль, изъ котораго онъ инлъ, когда женился на первой жен'в, бывшей д'ввушкой, и стаканъ, изъ котораго попла его Хава, выходившая за него замужъ вдовой.

— Жепы мон, развессинте меня хмелемъ винограда и воспоминаціємъ того, что было, когда мы въ первый разъ

пили вмфстф изъ этихъ стакановъ!

Проговоривъ это, Схарія духомъ проглотиль узкодонный бокаль и стакань и, отойдя къ окну, опить растопыриль и

пересчиталь всв свои нальцы.

Дѣло не нодвигалось: на рукахъ у Схарін продолжало оставаться десять нальцевъ. Было очевидно, чтебы выбиться изъ этого гнуснаго положенія, надо было прибѣгнуть къ нослѣднимъ, самымъ дѣйствительнымъ средствамъ и уже инчего не жалѣть.

Схарія такъ и сділаль.

— Ибтъ, — сказаль опъ, —пусть это не будеть такъ! Ибтъ; если ужь на то ношло, то и уже инчего не пожалью и такъ и быть и обновлю Закопъ въ спнаготь.

У этихъ суевъровъ «обновить», то-есть пожертвовать из синагогу новый свитокъ, ксе равно, что у игроковъ смарать старыя жиниси. Ио это стоитъ дорого, потому что «обновить» иначе нельзя, какъ чтобы новый свитокъ былъ нарадиве того, который уже находится въ употреблении.

По Схарія рышить «обновить» и притомъ «безъ обмана»,

п объявиль это Хавв.

— Жена моя, встань и слушай, слушай, что будеть говорить твой мужь, потому что и буду давать обыть Богу и безь всякой хитрости, и что и Ему обыцаю, ты, Хава, будень тому свидьтельница.

— Только не надо объщать грошей, — отозвалась Хава.

— Ивть, ты молчи и слупай. Это пе твое двло: и объщаю, Хава, что если надъ нами не будеть инчего худого и если и и ты, Хава, и всв двти мои, и весь домъ мой проживемъ этотъ годъ здорово до другого Иурима, то и, Хава, буду двлать больній жертвы: и вышишу, Хава, изъ Вильны самаго лучшаго инсари и прикажу ему списать весь Законъ на теличьемъ пергамент больними, ровными, какъ одна, лигерами. И это будуть, Хава, такія книги, какихъ у насъ еще не было: всв онъ будуть списаны безъ

одной ошибки и кусокъ пергамена будеть пришить къ другому куску воловыми жилами изъ быка, котораго и самъ заколю на это. И приколочу я пергаменъ къ краіненымъ налкамъ съ золотыми цвянками... И это будеть мой Законъ... О-0-0-й, не мінай, не мінай мігі обінцаться, Хава: я знаю, что ты хочешь говорить, а ты только слушай. Тебь, Хава, не надо говорить, потому что я все знаю, и даю обыть Богу за то, чтобы Онъ меня хороно охраниль до другого Нурима... Да; и тебѣ зато со мною хорошо будеть, Хава. И когда все будеть готово, Хава, ты приготовишь тогда гугель и перцу съ медомъ и всякихъ пряниковъ, только так хъ, чтобы отъ нихъ не больть прыко животь и никто, ихъ повыши, не умеръ. Я куплю намоченныхъ яблоковъ и всяких в хороннув плодовъ, и состроим в балдахинъ... О-о-о-й, не мъщай, Хава, не мъщай, мит это надо все громче кричать, чтобы всв ангелы слышали, что я объщаю! Построимъ балдахинъ съ золотомъ, Хава, и съ серебромъ... да, Хава,съ настоящимъ яснымъ золотомъ, какъ Соломонъ делалъ, и будеть балдахинь на двадцати четырехъ высокихъ крашеныхъ налкахъ, и вев будуть за тв палки цвиляться, а возьмутъ ихъ мон сыны и друзья, и мы один понесемъ его по серединь всей улицы и впереди вськъ войдемъ въ синагогу, а кинги будуть пести раввины. Каждый раввинь все будеть нести всего по шти шаговь и переменяться,да... по пяти...

— И за то имъ всемъ надо нлатить? — решительно ис-

ребила Хава.

— Да, Хава, да; всвыт надо будеть платить,—отввчаль Схарія:—и мы всвыт заплатимь, Хава. Что же такоо: мы заплатимь, но потомъ Богъ отдастъ намъ всемеро... Ты, втрно, забываещь. Хава, что Богъ долженъ отдать намъ все всемеро, и даже больше какъ всемеро.

— Еще отдасть ли, и когда Онъ отдасть!

— Хава, развів такть можно говорить? Развів я не ученьні человікть, развів я не весь Законт знаю; развів это не я тебів говорю? И какт ты можень мий не віршть съ одного слова, когда я могу тебя за это отпустить.

— А если ты умрешь прежде, чёмъ получишь отъ Бога

всемеро, какой тогда будеть намъ гешефтъ?

— Ara! воть ты опять не хорошо говоринь, Хава: право, ты не хорошо говоринь, для чего же я умру: я за то объть

двлаю, чтобы я не умеръ и быль цвль до другого Нурима, а ты говоринь, что я умру. Знаень, я опять тенерь боюсь, Хапа, что твоя бабка была не Ева, а глупая Лались, которая докучала Адаму твль, что все спорила. Смотри, Хава,

чтобы я за это не даль тебь разводъ.

Но Хава, отпосительно еще молодая жена Схаріи, которая была маловфриа и девольно скупа, а къ тому же знала себф цфиу, рфинительно возстала противъ цфиныхъ обфтовъ и, указывая на преклонные годы Схаріи и на свою отпосительную молодость и на кучу здфсь же ини-прявиних и вымявинихся по перинамъ дфтей, съ совершенно несвойственною еврейкф самостоятельностью, рфинительно протестовала противъ такъ торжественно признесеннаго ся мужемъ обфта.

Схарія, какъ пи быль преисполнень самой основательной ученой солидности, не могь снести этой дерзости: онъ стать сердиться, кричать, а наконець, видя, что не можеть по-

обдить строитивой жены, сказаль ей:

-- Интяль! я завтра же напишу теб'в разводное письмо, да непрем'вино! и велю писарю написать его ровными, одна къ одной буквами и безъ всякой опшбки, и ты его возьми и ступай вонъ, и пусть имя твое изгладится въ потомствъ.

И Схарія въ гивыв подошель опять къ пивану и налиль себв розенвейна, а Хава, которая не очень боядась изглажденія своего имени, по очень боядась остаться безь денегь, спокойно отверпулась къ окну, но вдругь произительно вскрикнула:

- Что тамъ? - спросилъ Схарія.

— Казакъ,—прошентала Хава и указала на свои ворота, въ которыя Апаньевъ тянулъ за поводъ свою длиновогую

поджарую лошадь.

Схарія урониль стакань и, взглянувь торопливо на свои пальцы, увидаль, что ихъ ни одпого ивть... Да, совсвив ин одного не было, а предъ глазами только какой-то огромный трясущійся паукъ косиль во всв стороны кривыми погами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Схарія паладиль свое дёло! Его об'ять уже песомивино принесь свои нлоды: исчезновеніе пальцевь возв'ящало при-

ближение того вождельниаго состояція, когда онь не станеть отличать Амана оть Мардохея, а тогда по его молитвъ будутъ твориться чудеса, какія творились по молитвъ Рабба, убившаго и воскреснвшаго раввина Сиро. Меламедъ сообразилъ это и быстро поправилси: казакъ ему пересталъ быть страшенъ.

— Не смей кричать!—сказаль онь жене:-ты увидинь,

что я съ нимъ сдвлаю.

— Неть, ты смотри, что онь деласть, —и Хава указала на Апаньсва, который въ это время щелкнулъ нагайкой по боку хозяйскую корову, что меланхольчески жевала съпо у образа, и, отогнавъ ес, поставиль къ свиу свою допскую клячу.

— Это инчего, -- отв'ячаль Схарія.

- А коров'в больно: она не дасть молока, и когда у нел заболить печенка, она будеть трефъ.
- Если у нея заболить печенка, мы ее продадимъ христіанамь и намь не будеть никакого убытка.

— А когда онъ придеть и будеть прэсить всть.

- Онъ не можетъ, Хава, просить, опъ инчего съ пами говорить не сыветь.
 - А когда онъ станеть пугать?

— Опъ не будеть пугать!

- Почему не будеть?

- Молчи: я знаю: онъ съ пами пичего делать не сместь.

— А какъ онъ украдетъ мою серебряную ложку?

— Ты сядь, Хава, на ложку; сядь на нее хорошенько, какъ Рахиль, и опъ ся не украдеть, а мив скорве подай изъ никана листь бумаги и черпила, и смотри и понимай, что умио-преумно буду дѣдать. Тенерь смирно: опъ входить.
— И онъ съ пѣмъ-то говорить, Схарія, —робко прошен-

тала Хава.

— Молчи; пусть съ къмъ хочетъ говоритъ, а съ нами онъ говорить не будеть. Туть я буду говорить; ты замычай, Хава, что я буду говорить. Я буду очень умио говорить.

Въ это время сильный толчокъ изъ сънен отворилъ дверь и на пороть показался во весь свой огромный рость казакъ Апаньевъ. По дипломатическимъ условіямъ своей повздки онъ быль безо всякаго оружія, но съ нагайкой, ув'юнстость которой уже испытала на себь Схарінна корова.

Лети, видя казака, спачала-было вев сразу заплакали,

но когда Хава загребла ихъ кучкой въ уголъ и покрыла евосю ватною юбкой, они сейчасъ же стихли. Въ поков

водворилось мертвое молчаніе.

Казакъ немножко нокачивался: онъ, очевидно, былъ пьянъ. Это такъ и следовало. Пуримъ справлялся не на одной австрійской стороне, а и на намей, где благочестивыхъ свреевъ сще более, чемъ въ Австріи, и все они не менее австрійскихъ кренки въ отеческихъ преданіяхъ.

Мементь быль тигостный и острый, который, новидимому, ин одна, ин другая сторона не знали какъ прервать; по это длизось не долго, и меламедь нервый даль починь къ

оживлению сцены.

Схарія, какъ будто не обращая на казака винманія, взяль

въ руку неро и, глядя на него, заговориль по-русски:

— Ой, перо мое, перо! он, кабы ты могло знать, мое перо, что и съ тобою буду двлать? А и съ тобою сейчасъ буду писать все, что здвсь будеть говорить чужой человикь, когорому инчего по сей бокъ пи съ какимъ цезарскимъ человъкомъ говорить не велъпо. И какъ, что опъ скажетъ, и все сейчасъ запишу и пошлю то къ комиссару, а комиссаръ отоплетъ московскому мајору, а московскій мајоръ выбъетъ тъ слова кому падо по-московски на синцу, и будетъ тогда отъ этого чужому человъку совсъмъ очень прескверно. Теперь слушай, мое перо, и пиши хорошенько.

Проговоривъ это, Схар'я обмакнулъ исро, положилъ руку на бумагу и приготовился писать; по писать было нечего. Апаньевъ не образцался ин съ однимъ словомъ на къ Схарін, ин къ его Хав'я, ин къ ихъ д'ятиъ, а, выслушавъ политичную річь меламеда, повелъ противъ исго свою по-

литику.

Стои посреди горпицы, казакъ прежде всего выпуль изъ шароваръ трубку и началъ ее молча набивать. Потомъ закурилъ трубку собственною спичкой, спряталъ въ шаровары кисетъ и, усвещись на скамъв за столомъ, вытащилъ изъ кармана маленькій белый миткалевый илаточекъ и преосторожно-осторожно пачалъ его разворачивать.

Казакъ раскрывать свой платокъ, точно въ немъ былъ завернуть какой-то драгондиный перстепь, но, разумветел, на перстия, на какой другой драгондиности въ илаткв пе было. Это доскопально видътъ и Схарія, и его жена, и ихъ дви, и баба Оксана. Похоже было, что это какая-то хит-

рость, и эта хитрость начинала всёхъ занимать. Казакъ же продолжалъ свое дёло необывновенно серьезно: опъ развернулъ илаточевъ, сравиялъ всё уголки вдвое, вчетверо, нотомъ крестъ-на-крестъ и будто разсердился, что не такъ вынило, и опять сталъ его встряхивать и на-ново складывать. Опять долго и много онъ его встряхивалъ, нереворачивалъ, смотрёлъ на свётъ и, зам'ятивъ гдё-то пылинку на столъ, сдулъ се и началъ разстилать и разглаживать ланами на этомъ мъстъ свой илатокъ, а потомъ, ноложивъ на него свою нагайку, поласкалъ се рукой, какъ будто какого любимаго кота, и повелъ съ нею такоз слово:

— Ой, нагайка моя, нагайка! Распреумная ты, моя дружина, казачья кормилица. Много ты миж, государыня, сослужила всяких службъ и еще сослужи, что я тебю буду тенерь сказывать. Не сердись, что я строго съ тобой сейчасъ обощелся, что долженъ былъ тебя объ жидовскую корову хлопнуть; въ этомъ ты сама виновата: зачёмъ службу забываешь: не принасла коню на дворф гарчикъ овса и корову раньше не отогнала. Вотъ за то тебф и досталось, что ты свою донскую присягу забыла, за это я тебя и внередъ не помилую. Не хочень бита быть — сама себя оберегай, — песи службу върную: я сейчасъ теперь нойду къ командиру и самою короткою дорогой, шибко нобъту, а тебф приказываю, чтобы миф здъсь къ моему приходу, вотъ на самомъ этомъ платочив, стояла целая бутылка водки и тарелка нерцу съ жидовской рыбой, и ты это непремыно достань, а если не достанешь, то я тебя схвачу тогда за ухо, да начну обо всфхъ мидовъ хлопать, нока у тебя ухо оторвется. Вотъ тебф въ томъ и задатокъ, чтобы знала, какъ тебф достанется!

Ирн этомъ онъ взялъ нагайку въ руки и, вставъ съ мъста, такъ ударилъ ею по скамейкъ, что та сразу же развалилась надвое, а самъ опять положилъ нагайку на илатокъ и вышелъ, не сказавъ хозяевамъ пи одного слова.

валилась надвое, а самъ онять положилт наганку на илатокъ и вышелъ, не сказавъ хозяевамъ ни одного слова. Впечатлъніе было полное. Казакъ усивлъ уже обогнутъ утолъ дома, а семья достопочтеннаго Схарін еще пристально смотрѣла на мастерски разрѣзанную плетью скамыю, которая служила прообразованіемъ того, что въ самомъ недалекомъ будущемъ должно случиться съ ними самими. если только умъ и ученость Схарів не найдуть средства отклонить жестокаго изказанія, угрожавшаго несчастной нагайнь.

Нервая обпаружила признати этой заботливости Хава: она выпустила изъ-подъ юбки дівтей и спазала мужу:

- Что ты себѣ думаень, что онъ говорить съ этой каравкой?

- Я лумаю, что онъ сэвсьмъ глуный.

 — А что изъ этого, что онъ глуный, когда ей отъ этого иччего, а намъ очень больно будеть.

-- Это правда.

- Видишь, что онъ сублаль съ нашей скамейкой.

— Онъ ее совскиъ испортиль, Хава.

- Я не хочу, чтобы съ нами такъ было, Схарія.
- Да, лучше и буду думать, чтобъ этого не было, отвъчалъ онъ.

- - Ты станень думать и опять успень.

- П'єть, Хава, я теперь не усну, теперь нельзя спать, Хава.
- Нельзя спать, надо скорве послать Оксану за Инмилемъ и Шліомой, чтобъ они инли съ этимъ москалемъ биться.
- Ивть, Хава, ивть. Что такое биться? Цзъ-за чего биться? И они не придуть, Хава, биться... Ивть!.. Я сейчасть выдумаю; я сейчасть выдумаю такое, что ты инкогда не слыхала, да; я не новьно Оксану ин за Шмилемъ, ни за Ивліомой, нотому что опи будуть потомъ на насъ емвяться, а я пошлю Оксану совсвив въ другое мъсто. Оксана! что ты стоинь? Ты ходи смёло, совсёмъ смёло ходи. Ты иди въ кладовую и возьми все, что опъ говорилъ, -- ты возьми рыбу и ты водку возьми, и ты поставь все это сейчасъ на столв. Да, да, да, нечего тебв такъ на меня смотрьть: я умный человыхь, я знаю, что я говорю, потому что я не хочу, чтобъ онъ биль о меня и о монхъ дѣтей свою знагайку. А онъ дуракъ. Если онъ мо-жетъ думать, что эта знагайка можетъ сму водку и рыбу поставить - онъ дуракъ, и Коганъ Шліома дуракъ. Мы поставимъ водку и рыбу, и этотъ казакъ завтра забдетъ до Шліома и опять все этакт сдвласть, а Шліомъ глупый человект, онъ разсердится и не поставить всего на столь и они оба будуть одинъ съ другимъ биться и оба другъ друга убысть и ихъ за это обоихъ повъсять на высокомъ

столов, и ноганая птица съ большимъ носомъ сядетъ па вихъ и будетъ ихъ ветъ. А мы дадимъ этому дураку водки и рыбы и больше ничего, потому что у меня есть настоящій умъ, который все злое можетъ передълать. Пусть опъ думаеть, что ему все это привесла сюда его звагайка, и пусть сдълаетъ этакъ же завтра съ Ивліомою. Вотъ что я выдумаль!

И Схарія отъ нетеривнія самъ номогаль скорве выставлять на указанное казакомъ місто бутылку вина и полмисокъ съ рыбой, и быль очень радъ, что въ эту же самую минуту въ окив мелькнула фигура Ананьева и чрезъ

сенунду находчивый илуть самъ ноявился.

Одно, что не было приготовлено Ананьеву, это не поставили ему другой скамейки, но ноходный человіжь за этимъ не гонится; нашъ же казакъ теперь былъ особенно скоръ и рішителенъ: онъ даже выпиль всего одну рюмку водки, а всю естальную бутылку спустилъ за голенище; а кунканье только попробовалъ и замітилъ, что жиды очень мало рыбы въ перецъ кладутъ. А затімъ собралъ все въ платокъ и прочелъ казачью молитву:

— Богъ напиталъ — чортъ не видалъ, а если видълъ — не обидълъ. И тебъ, нагайка, спасною: хорошо спроворила, за то и не будень о жидовъ бита; а теперь хочень здъсь оставайся, хочень вели бабъ, чтобъ она песла тебя за миой

съ почестью.

— Песи ее! — шеннулъ грозно Оксанъ Схарія.

И та попесла пагайку за Ананьевымъ, который, войдя на дворъ, отвязалъ отъ образа свою клячу и сталъ подтягнвать подпруги, но вдругъ слышитъ — баба говоритъ ему:

— Господа Москалю, а господа Москалю! Казакъ носмотрилъ на нее и отвичаетъ:

- Молчи, тетка, мив ыт ваниемъ царствъ съ вами говорить нельзя.
 - Да мени отъ васъ только одно слово треба.

— Какое одно слово: худее или деброе?

Скажите мени, чи вы чего у насъ не вкралы?
Что ты, что ты, дура! Разыв мы не крещеные?

 Да що съ того, що вы хрещены, да крадете, а меня нотомъ хезяева бить будуть.

— Бать будуты! Воть видинь жиспь-то у вась какая

горыкая!

- Отдайте же що вы вкралы?
- Да отвяжись ты отъ меня, сділай милесть, съ такими пустяками. Ты лучше молись Цариці Исбесной, чтобы мы вась поскорый побідшли и за себя взяли, тогда тебя жидь по посмість бить.
- Да що молиться, я и такъ молюсь, щобъ и вы нобидыли и щобъ васъ нобидыли, а яки не нобидятся, тихъ щобы сила Божа нобидыла, тылько скажите, що вы у меня вкралы?

Казакъ и разсердился.

— Тьфу ты, дура, говорить: — съ тобой и еловъ тратить исчего!

Вскочиль на коня и говорить:

— Подай мою нагайку.

Но Оксана, что бы вы думали:

— Эге, — говоритъ — ивтъ, вы мени отдайте що вы

вкралы.

Туть Оомка Ананьевь уже совсють взбютлен, да къ ней, а она оть него, да въ свин заперлась, а нагайка у нея въ рукахъ осталась. А казакъ туда-сюда, ломиться не смъетъ — и быль таковъ — ускакаль на свою сторону. И вышла всёхъ дальновидиве баба Оксана, а всёхъ глупбе мудрый Схарія, который туть только и поняль, какъ опъ просто могь отдёлаться. Съ этой норы мой Схарія и сталь у всёхъ въ носмещище и доживаетъ въкъ въ дуракахъ, ожидая, пока придетъ часъ обмазать ему голову сырымъ яйцомъ и зарыть его въ землю. Вотъ вамъ и «странный жидъ» съ расчетомъ. Конечно, можетъ-быть это къ другимъ въ примёръ не идетъ, ну да и вёдь это такъ разсказалъ, къ тому, что и разсчетливый просчитывается. Не взыщите. А теперь спать бы! да если ночью тревога, пожалуйста вставать — не конаться.

Бълый ОРЕЛЪ.

(фантастическій разсказъ).

«Собакт спятся млюбь, а рыба — рыбаку». Өсөкрить (Идиллія).

ГЛАВА НЕРВАЯ.

Есть вещи на свёть. Съ этого обывновенно у наст. и инято начинать подобные разсказы, чтобы прикрыться Шексниромъ оть стравь остроумія, которому изть инчего неизвъстнаго. Я, вирочемъ, все-таки думаю, что «есть вещи» очень странныя и непонятныя, которыя ипогда называють сверхъестественными, и потому я охотно слушаю такіе разсказы. Поэтому же самому, два-три года тому назадъ, когда мы, умалиясь до детства, начали играть въ духовидство, и охотно присосбдился на одному изъ такихъ кружковъ, уставомъ котораго требовалось, чтобы въ нашихъ собранияхъ по вечерамъ не произносить ин одного слова ин о властихъ, ви о началахъ міра земного, а говорить единственно о без--ихо жа играну и инодавон жи воо -- жизу жинтоки бахъ людей живущихъ. Лаже «консервировать и спасать Россію» не дозволялось, потому что и въ этомъ случав многіе, «начиная за здравіе, все сводили за упокой».

На этомъ же основани строго преслъдовалось всякое упоминовение всуе какихъ бы то ни было «большихъ именъ», кромъ единственнаго имени Божія, которое, какъ извъстио, наичаще употребляется для красоты слога. Бывали, конечно, нарушеція, по и то съ большою осторожкой. Развъкакіе-пибудь два нетерифливьйшіе изъ политиковъ отобыотся

къ окну или къ камину и что-то пошенчутъ, по и то одинъ другого предостерегаетъ: «pas si haut!» А хозяннъ ихъ уже назираетъ, и шутя грозитъ имъ интрафомъ.

Каждый должень быть по очереди разсказывать что-нибудь фантастическое изъ своей жизни, а какъ уживье разсказывать дается не всякому, то къ разсказамъ съ художественной стороны не придирались. Не требовали также и доказательствъ. Если разсказчикъ говорить, что разсказываемое имъ событіе, действительно, происходило съ шимъ, ему върили, или, по крайней мърв, притворялись, будто върятъ. Такой быть этикетъ.

Меня это больше всего занимало со стороны субъективпости. Въ томъ, что «есть вещи, которыя не енились мудредамъ», я не сомивваюсь, но какъ такія вещи кому представлиются — это меня чрезвычайно занимало. И въ самомъ
двля, субъективность тутъ достойна большого винманія.
Какъ, бывало, ин старается разсказчикъ, чтобы стать въ
высшую сферу безплотнаго міра, а все непремѣшю замѣтипь, какъ замогильный гость приходить на землю окрашиваясь, точно свѣтовой лучъ, проходящій черезь цвѣтное
стекло. И тутъ уже не разберень, что ложь, что истина, а
между тъмъ слѣдить за этимъ интересно, и я хочу разсказать такой случай.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Дежурнымъ мученикомъ», т. е. очереднымъ разсказчикомъ было довольно высоконоставленное и притомъ очень
оригинальное лино, Галактіонъ Ильичъ, котораго въ нутку
звали «худородный вельможа». Въ кличкъ этой скрывался
каламбуръ: онъ, дъйствительно, былъ немножно вельможы
и притомъ былъ странию худъ, а вдобавокъ имѣлъ очень
исзнатное происхожденіе. Отецъ Галактіона Ильича былъ
крѣностнымъ буфетчикомъ въ именитомъ домѣ; потомъ откуницикомъ и, наконецъ, благотворителемъ и храмоздателемъ, за что получилъ въ сей брешной жизин орденъ, а
въ будущей мъсто въ царствъ небесномъ. Сына опъ обучалъ въ универентетъ и вывелъ въ люди, по «въчная
намятъ», которую пъли ему падъ могилой въ Невской давр!,
сохранилась и тяготъла падъ его наслъдникомъ. Сынь
«человъка» достигъ извъстныхъ стененей и допускался въ

общество, по шутка все-таки волокла за нимъ титуль «ху-

дороднаго».

Объ умк и способностихъ Галактіона Ильича едва ли у кого-инбудь были ясныя представленія. Что онь могъ едклать и чего не могъ,—этого тоже навѣрно инкто не зналъ. Кондунть его быль коротогь и прость: онь въ началѣ службы, но заботамъ отца, ноналъ къ графу Виктору Инкитичу Панину, который любилъ старика за какія-то извѣстныя ему достоинства и, принявъ сына подъ свое крыло, довольно скоро выдвинулъ его за тоть предѣль, съ кото-

раго начинаются «ходы».

Во всякомъ случав надо думать, что онъ имвиъ какіяинбудь достоинства, за которыя Викторъ Инкитичъ могъ его новышать. По въ свъть, въ обществъ Галактіонъ Ильнчъ усивха не ималь и вобоще не быль избаловань насчеть житейскихъ радостей. Онъ имълъ самое илохое, хлинкое здоровье и фатальную наружность. Такой же долгій, какъ его усоний натронъ, графъ Викторъ Никитичъ, — опъ не имъть, однако, вившияго величія графа. Напротивъ, Галактіонъ Плынта внушаль ужась, смышайный съ искоторымъ отвращенісмъ. Онт въ одно и то же время быль типическій деревенскій лакей и тишическій живой мертвець. Длинный, худой его остовъ быль едва обтяпуть съроватой кожей, непомірно высокій лобъ быль сухъ и желть, а на вискахъ отливала бледная труппая зелень, посъ широкій и короткій, какъ у черена; бровей ни признака, всегда полуоткрытый роть съ сверкающими длиными зубами, а глаза темпые, мутные, совершенно безцвитные и въ соверненно черныхъ глубокихъ яминахъ.

Встретить его-значило испугаться.

Особенностью наружности Гадактіона Ильича было то, что въ молодости онъ былъ гораздо страшиње, а къ старости становился лучше, такъ что его можно было перепосить безъ ужаса.

Характера онъ былъ мягкаго и имѣть доброе, чувствительное и даже, какъ сейчасъ убидимъ. — сентиментальное сердце. Онъ любилъ мечтать и, какъ большинство дурпорожихъ людей, глубоко такът свои мечтанія. Въ душѣ онъ былъ поэтъ больше чѣмъ чиновникъ и очень жадио любилъ жизнь, которою никогда во все удовольствіе не пользовался.

Несчастіе свое опъ песъ на себв и зналь, что опо въчно

и пеотступно съ инмъ до гроба. Въ самомъ его возвышени по службъ для него была глубокая чана горечи: онъ подовръвалъ, что графъ Викторъ Инкитичъ держалъ его при себъ докладчикомъ больше всего въ тъхъ соображенихъ, что онъ производилъ на людей подаклющее внечатлъние. Галактионъ Ильичъ видътъ, что когда люди, ожидающие у графа прима, должны были изложить ему цъль своего прихода,—у инхъ меркъ взоръ и подгибались колъна... Этимъ Галактионъ Ильичъ много содъйствовалъ тому, что послъ него личная бесъда съ самимъ графомъ каждому была уже легка и оградиа.

Съ годами Галактіонъ Ильнчъ наъ чиновника докладывающаго сталъ самъ лицомъ, которому докладывають, и ему дано было очень серьезное и щекотливое порученіе въ отдаленной м'юстности, гді съ нимъ и случилось сверхъестественное событіе, о которомъ ниже слідуеть его собствен-

ный разсказъ.

THABA TPETER.

Не съ большить двадцать илть літь тому назадъ, началь худородный сановникъ, до Нетербурга стали доходить слухи о многихъ злоунотребленіяхъ власти губернатора П—ва. Злоунотребленія эти были обишриы и касались потти всіхъ частей управленія. Писали, будто губернаторъ собственноручно билъ и сікъ людей; забираль вмістів съ предводителемъ для своихъ заводовъ всю містиую ноставку вина; браль произвольных ссуды изъ приказа; требоваль къ себі для пересмотра всю почтовую корреспонденцію—подходящее отправляль, а ноподходящее рваль и металь въ огонь, а потомъ метиль тімъ, кто писаль; томиль людей въ неволів. А при этомъ онъ быль, однако, артисть, содержаль большой, очень хорошій оркестрь, любиль классическую музыку и самъ превосходно играль на віолопчели.

Долго о его безчинствахъ доносились только слухи, но потомъ взялся тамъ одинъ маленькій чиновникъ, который притацился сюда въ Истербургъ, очень обстоятельно и въ подробности описалъ всю эпонею, и нодалъ ее самъ въ падлежащія руки.

Исторія выходила такая, что хоть сейчасть сенаторскую ревизію назначать. По-настоящему опо такт бы и слідо-

вало, но и губернаторъ, и предводитель были па лучшемъ счеть у нокойнаго государя, а нотому взяться за нихъбыло не совсьмъ просто. Викторъ Инкитичъ котъть прежде обо всемъ удостовърпться поточные черезъ своего человъка и выборь его паль на меня.

Призываеть онъ меня и говоритъ:

- Такъ и такъ, доходять вотъ такія и такія печальныя пести и, къ сожаленію, кажется, въ нихъ какъ будго есть статочность; по прежде чемь дать делу какое-пибудь движеніе, я желаю въ этомъ ноближе удостовъпиться и рышиль употребить на это васъ.

Я кланяюсь и говоры:

— Если могу, буду очень счастливъ.

— Я увъренъ, — отвъчаетъ графъ: — что вы можете, и и на васъ полагаюсь. У васъ есть такой талантъ, что вамъ вздоровъ говорить не стануть, а всю правду выложать.

— Талантъ этотъ, — поясниль, тихо улыбнувшись, разсказ-чикъ: — это моя печальная фигура, наводящая уныніс на

фронть; но кому что дано, тоть съ тымъ и мыкайся.

— Бумаги всъ для васъ уже готовы, — продолжалъ графъ: —

и деньги тоже. Но вы вдете только по одному пашему выдомству... Нонимаете только!

— Понимаю, говорю.

— Ни до какихъ злоупотребленій по другимъ выдом-ствамъ вамъ какъ будго діла нізть. По это только такъ должно казаться, что иють, а на самомъ дёле вы должны узнать все. Съ вами повдуть два способныхъ къ двлу чиповинка. Пріфзжайте, засядьте за діло и вникайте будто всего внимательное вы канцелярскій порядокь и формы судопроизводства, а сами смотрите во все... Призывайте мъстныхъ чиновниковъ для объясненій и... смотрите построже. А назадъ не торонитесь. Я вамъ дамъ знать, когда вернуться. Какая у васъ последния награда?

Я отвичаю:

— Владиміръ второй степени съ короной.

Графъ сиялъ своей огромной рукою его извъстный тл-желый броизовый прессъ-панье «убитую итичку», досталь изъ-подъ него столовую намятную тетрадь, а правою ру-кою всеми иятью нальцами взяль толстый исполинъ-карандангь чернаго дерева и, инмало отъ меня не скрывая, на-инсаль мою фамилію и противъ нея «билый орель».

Такимъ образомъ и зналъ даже награду, которая ожидала меня за пенолвение возложеннаго на меня порученія, и съ тъмъ совершенно спокойный убхаль на другой же день изъ Истербурга. Со мною быль мой слуга Егоръ и два чиновника изъ

сепата -- оба люди ловкіе и свытскіе.

PHABA HETBEPTAH.

Довхали мы, разумвется, благонолучно; прибывь въ городъ, паняли квартиру и расположились всв: и, мои два чиновинка и слуга.

Помвичение было такое удобное, что я вполив могь отка-заться оть удобивникаго, которое мив предупредительно

предлагаль губериаторъ.

И, разумъстся, не хотъль быть ему обязанъ ни малъй-шей услугой, хотя мы съ пимъ, конечно, не только размъпались визитами, по даже я разъ или два быль у пего на его гайденовскихъ квартетахъ. Ио, вирочемъ, я до музыки не большой охотинкъ и не знатокъ, да и вообще, понятно, старался не сближаться болье, тыть мив пужно, а нужно ин было видъть не его галантность, а его темныя дъянія. Вирочемъ, губернаторъ быль человыть умный и ловкій

п своимъ винманіемъ мив не докучаль. Опъ какъ будто оставиль меня въ поков возиться съ входящими и неходящими регистрами и протоколами, но тымь не менюе я всетаки чувствоваль, что вокругь меня что-то коноинтся, что люди выщуцывають, съ какой бы стороны меня уловить и потомъ, въроятно, запутать.

Къ стыду рода человвиеского долженъ упомянуть, что пе считаю въ этомъ совсвиъ безучастными даже и пре-красный полъ. Ко мив стали являться дамы то съ жало-бами, то съ просъбами, по при всемъ этомъ всегда еще съ такими планами, которымъ и могъ только подивиться.
Однако, и вспомниль совъть Виктора Пикитича, — «по-

смотръть построже», и граціозныя видьнія сникли съ моего, иеподходящаго для пихъ горизонта. Но мои чиновники имъли въ этомъ родъ усиъхи. Я это зналъ и не пренитствоваль имъ ин волочиться, им выдавать себя за очень большихъ людей, за какихъ ихъ охотно принимали. Мив было даже полезно, что они тамъ кое-гдв вращаются и преуспъвають въ сердцахъ. Я гребоваль только, чтобы не случилось инкакого скандала, и чтобы мив было изивстно: на какіо нункты ихъ общительности сильиве налегасть провинціальная политика.

Они были ребята добросовъстные и все мив открывали. Отъ нихъ все хотъли узнать мою слабость и что я особенно

. Поб. по.

Имь бы поистипь этого инкогда но добраться, потому что, благодаря Вога, особенных слабостей у меня пыть, да и самые вкусы мон, съ коихъ поръ себя помию, всегда были весьма простые. Емъ я всю жизив столъ простой, иью обыкновению одиу рюмку простого хересу, даже и въ дакомствахъ, до которыхъ смолоду быль охотишкъ, — всякимъ тонкимъ жело и ананасамъ предпочитаю астраханскій арбузъ, курскую грушу или, по дытской привычкъ, медовый напошинкъ. Не завидовалъ я инкогда инчьему ботатству, ин знаменитости, ин красотъ, ин счастью, а ссли чему завидовалъ, то можно сказатъ развъ одному здоровью. Но и то слово зависть не идетъ къ опредъленю моего чувства. Видъ цевтущаго здоровьемъ человъка не возбуждалъ во миъ досадливой мысли: зачъть овъ таковъ, а я не таковъ. Напротивъ, я глядълъ на него только радуясь, какое море счастія и благъ для него доступно, и тутъ, бывало, развъ пногда помечтаю на разные лады о невозможномъ для меня счастін пользоваться здоровьемъ, котораго миъ не дано.

Пріятность, которую доставляль мив видь здороваго человъва, развила во мив такую же страиность въ эстетическомъ моемъ вкусть и не гоиялся ин за Тальони, ин за Бозіо, и вообще быль равнодушенть какъ къ оперт, такъ и къ балету, гдт все такое искусственное, а больше любить послунать цыганъ на Крестовскомъ. Ихъ этотъ огонъ и нылъ, эта ихъ страстиая сила движеній мит лучше всего правились. Иной даже не красивъ, корявый какой-нибудь, а пойдетъ точно самъ сатана его дергасть, ногами шляшеть, руками машеть, головой вертитъ, таліей крутитъ—весь и колотитъ, и молотитъ. А тутъ въ себт знаешь только одить немощи, и поневолъ заглядишься и замечтаешься. Что съ этимъ можно вкусить на пиру жизни?

Воть я и сказаль мосму чиновинку:

— Если васъ, другъ мой, будутъ еще разспрашивать: что мив болве всего правится, скажите, что здоровье, что и

больше всего люблю людей бодрыхъ, счастливыхъ и ве-

 Кажется, тутъ изтъ большой неосторожности? – пріостановясь вопросиль разсказчикъ.

Слушатели подумали, и ивсколько голосовъ отвычали:

- Конечно, пътъ.

 Пу, и прекрасно, и я тоже думалъ, что иЪтъ, а топерь вы извольте дальне слушать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ко мив изъ налаты присылали въ мое распоряжение на дежурство чиновинка. Такъ, онъ докладываль мив о приходящихъ, отмвчать кое-что и, въ случав надобности, сообщаль адресы за квиъ надо было послать или о чемъпибудь сходить сиравиться. Чиновинкъ данъ былъ подъстать мив, — ножилой, сухой и нечальный. Впечатляние производить пехорошее, по я мало обращалъ на него впимания, а звали его, какъ и помию, Ориатский Фамилія прекрасная, точно герой изъ стариннаго романа. Но вдругъ въ одинъ день говорять: Ориатский запемогъ и вмвсто его скзекуторъ прислалъ другого чиновника.

— Какой-такой? спрашиваю. — Можеть-быть я лучше бы

подождаль, пока Однатскій выздоровьють.

— Ивть-съ, — отвъчаетъ экзекуторъ: — Орнатскій теперь не скоро, — онъ запиль-съ и запой у него продолжится, пока Пвана Истровича мать его выпользуетъ, а о новомъ чиновникъ не извольте безпоконться: вамъ вмъсто Орнатскаго самого Ивана Истровича назначили.

Я на него смотрю и немножечко не попимаю: про какого это онъ миз про *самою* Ивана Истровича говорить, и въ двухъ строкахъ два раза его проименовалъ.

— Что это, говорю, —за Иванъ Петровичь?

- Ивань Пегровичь!.. это, который у регистратуры сидить, помощинкь. Я думаль, что вы его изволили замътить: самый красивый, его всв замвчають.
 - Ивтъ, говорю, я не замътить, а какъ его зовуть?
 - -- Иванъ Петровичъ.
 - 9 четимвф А
 - Фамилія...

Экзекуторъ сконфузился, взялся тремя нальцами за лобъ

и силился приноминть, но вывсто того, почтительно улыбаясь, добавиль:

— Простите, ваше превосходительство, вдругь какъ столбиякъ нашелъ и не могу вспомнить. Фамилія сто Аквиляльбовъ, по мы всё сто называемъ просто Иванъ Петровичь или иногда въ шутку «Бёлый орелъ» за сто красоту. Человыкъ прекрасный, на счету у начальства, жалованъя по должности помощника получаетъ четырнадцатъ рублей пятнадцать конескъ, живетъ съ матушкой, которая ибкоторымъ гадаетъ и пользуетъ. Позвольте представитъ: Иванъ Петровичъ дожидается.

— Да, ужъ если такъ нужно, то попросите, помалуйста,

сюда этого Ивана Петровича.

 Б'ялый орель!.. думаю себ'я: — что это за странность. Мий орденъ следуеть б'ялый орель, а не Иванъ Истровичъ.

А экзекуторъ пріотвориль дверь и крикнуль:

- Иванъ Петровичъ, пожалуйте.

И не могу вамъ его описывать безъ того, чтобы не виадать въ изкоторый шаржъ и не дзлать сравненій, которыя вы можете счесть за преувеличенія, но и вамъ ручаюсь, что какъ бы я ни старался расписать вамъ Ивана Нетровича — живопись моя не можеть передать и половины

красотъ оригинала.

Передо мною стояль настоящій «Бізьній орель», форменный Aquila alba, какъ его изображають на нолимкъ парадныхъ пріемахъ у Зевса. Высокій, крупный, по чрезвычайно пропорціональный мужчина и такого здороваго вида, будто онъ пикогда не горьять и не больять, и не зналь ни скуки, ин усталости. Оть него нышило здоровьемъ, но не грубо, а какъ-то гармонично и привлекательно. Цевть янца у Ивана Петровича быль весь ивжнорозовый съ широкимъ румяндемъ, щеки обрамлены свътлорусымъ пушкомъ, который, однако, уже переходилъ въ зралую растительность. Лать сму было какъ разъ двадцать иять; волосы свътлые, слегка волнистые blonde и такая же бородка съ н'яжной подналиной и синіс глаза подъ темными бровями и въ темныхъ респицахъ. Словомъ, скавочный богатырь Чурило Анленковичъ не могъ быть лучие. По прибавьте къ этому смелый, очень осмысленный и весело открытый взглядь, и вы имбете передь собою

пастоящаго прасавца. Одіть онъ въ вицмундиръ, который сидвать отлично, и темпо-гранатного цевта шарфъ съ нышнымъ бантомъ.

Тогда посили шарфы.

Я и залюбовался Иваномъ Истровичемъ, и зная, что произвожу на людей, первый разъ меня видящихъ, висчатлвије не легкое, сказалъ запросто:

- Здравствуйте, Иванъ Петровичъ!

— Здравія желаю, ваше превосходительство, — отвічаль онъ очень задушевнымъ голосомъ, который тоже ноказался

мик презвычайно симпатичнымъ.

Говоря отв'ятную фразу въ солдатской редакцін, онъ, однако, мастерски умаль дать своему тону оттриокъ простой и вполив позволительной нутливости, и въ то же время одинь этоть отвъть устанавливаль для всей бесёды характерь своего рода семейной простоты.

Мив становилось поинтнымъ, почему этого человвка «всв

любитъ».

Не видя инкакой причины м'вшать Ивану Истровичу держать его тонъ, я сказалъ сму, что я радъ съ инмъ познакомиться.

- И я съ своей стороны тоже считаю это для себя за честь и за удовольствіе, - отвічаль онь стоя, по выступивъ <mark>шагь впередь своего экзекутора.</mark>

Мы раскланялись,—экзекуторъ ушелъ на службу, а Иванъ Истровичъ остался у меня въ прісмной.

Черезъ часъ и попросилъ его иъ себъ и спросилъ:

- У васъ хорошій почеркъ?

— У меня характерь письма твордый, -отв'ячаль опъ и сейчась же добавиль: - вамь угодио, чтобы и что-нибудь наинсаль.

- Да, потрудитесь.

Онъ сълъ за мон рабочій столь и черезь минуту подаль мив листъ, посереднив котораго четкою скоронисью «твердаго характера» было написано: «Жизнь на радость намъ дана. Иванъ Петровъ Аквиляльбовъ».

Я прочель и неудержимо раземвялся: лучие того, что онъ написалъ, не могло къ нему идти пикакое выраженіе. «льнань на радость»; вся жизнь для него силониая радость!

Совству въ моемъ вкуст человъкъ!..

Я даль ему переписать на мосмъ же столѣ малозначительную бумагу, и онъ сдълаль это очень скоро и безъ малѣйшей опшбки.

Потомъ мы разстались. Иванъ Петровичъ ушелъ, а я остался одинъ дома и иредался своей болбзиенной хандръ, и признаюсь, —чортъ знастъ почему ибсколько разъ перепосился мыслію къ пему, т. е. къ Ивану Петровичу. Вѣдъ вотъ опъ, небось, не охастъ и не хандритъ. Ему жизнь на радость дана. И гдѣ это опъ проживаетъ ее съ такой радостью на свои четырнадцатъ рублей... Поди, пожалуй, къ карты счастливо пграетъ, или тоже взяточки перепадаютъ... А можетъ-бытъ купчихи... Недаромъ у него этотъ такой свѣжій гранатный галстукъ...

Сижу за раскрытыми передо мною во множествъ дълами и протоколами, а думаю о такихъ безцъльныхъ, вовсе до меня не относящихся пустикахъ, а въ это самос времи

человікь декладываеть, что прідхаль губернаторь.

Прошу.

PHABA THECTAIL

Губернаторъ говоритъ: «у меня послъзавтра квинтетъ, падъюсь, будеть недурно сыграно, и дамы будутъ, а вы, я слышалъ, захандрили у насъ въ глуни, и пріъхалъ васъ навъстить и попросить на чашку чаю, — можегъ-быть, не лишнее будеть немножко развлечься».

-- Нокорно васъ благодарю, по отчего вамъ кажется, что

и хандрю?

По Ивана Петровича замѣчанію.

- Ахъ, Иванъ Петровичъ! Это который у меня дежуритъ? И вы его знаете?
- Какъ же, какъ же. Это нашъ студентъ, артистъ, хеъистъ, но только не аферистъ.

— Не аферисть?

— Исть, онъ такъ счастливъ, какъ Иоликратъ, ему не надо быть аферистомъ. Онъ всеобщій любимецъ въ городь и непременный членъ по части везкихъ веселестей.

— Онъ музыканть?

— Мастеръ на вев руки: сивть, сыграть, протанцовать, всселые фанты устроить — все Иванъ Истровичь. Гдв инръ, тамъ и Иванъ Истровичъ; затъвлется аллегри или сисктакаь съ благотворительною цълю — очять Иванъ

Истровичь. Опъ и выперыни распредблить, и векциы вебхъ красивбе разставить; самь декораціи парнеусть, а потомъ сейчась изъ малира въ актера на любую роль готовъ. Какъ онъ перасть королей, дадюшекъ, пылкихъ любовниковъ, — это заглядвиье, по особенно хоролю онъ старухъ представляеть.

Будто и старухъ!

— Да, удивительно! Воть я къ послъзавтраниему вечеру, признаться, и готовлю съ номощью Ивана Петровича маленькій сюриризь. Будуть живыя картины. Ивань Петровичь ихъ поставить. Разумется, будуть и такія, что ставится для дамъ, желающихъ себя показать, по три будуть имъть кое-что и для настоящаго художника.

— Это сділаєть Иванъ Петровичь?

— Да, Иванъ Петровичъ. Картины представляютъ «Сауда у волиебницы андорской». Сюжеть, какъ извъстно, библейскій, а расположеніе фигуръ ивсколько дугое, что называется, «академическое», по тутъ все двло въ Иванв Петровичь. На одного его вев и будуть смотрыть, особенно когда ири второмъ открытій картины обпаружится нашъ сюрпризъ. Вамъ я могу сказать этотъ секреть. Картина открывается, и вы увидите Саула: это царь, — царь съ головы до поть! Онъ будеть одъть, какъ всв. Ин мальшиаго отличи, потому что но сюжету Саулъ приходиль къ волиебинцв переодітымъ, такъ, чтобы она его не узназа, по его *пельзи* ие умать. Онъ царь, и притомъ настоящій библейскій царь-пастухъ. Но запавъсъ упадетъ, фигура быстро измъияеть свое положение: Сауль лежить пиць передь явившейся твиью Самуила. Саула теперь все равно что ивть, по зато какого видите Самуила въ саваив!.. Это вдехновенивйній пророкъ, на раменахъ котораго почість сила въ лицв, величіе и мудрость. Этоту могь «повельть царю явиться и въ Веоиль, и въ Галгалахъ»?

— И это будетъ опять Иванъ Петровичь?

— Йвант Истровичт! Но въдь это не конецъ. Если нопросятъ новторенія,—въ чемъ я увъренъ и самъ о томъ носабочусь, — то мы васъ не станемъ томить задами, а вы увидите продолженіе эпонен. Повая сцена изъ жизин Саула будетъ совсьмъ безъ Саула. Тънь исчезла, царь и сопровождавине его вышли; въ двери можно замѣтить только кусэкъ илаща на синив послъдней удаляющейся фигуры, а на сценъ одна волитебинца... - И это онять Иванъ Петровичь?

Разумвется! Но ввдь вы передъ собою увидите не то, какъ изображають ввдьмъ въ «Макбетв»... Пикакого столбияковаго ужаса, ни ломки, ни кривляній, по вы увидите лицо, которое знасть то, что не сиплось мудрецамъ. Вы увидите какъ страшио говорить съ выходцемъ изъ могилы.

— Воображаю, отвічаль я, будучи всемірно далекь отъ мысли, что не пройдеть трехъ дней, какъ мий приведется не воображать, а на самомъ себі испытывать такую пытку.

Но это пришло нослів, а тенерь все было нолно одинить Иваномъ Петровичемъ, —этимъ веселымъ, живымъ человъкомъ, который вдругъ, какъ боровичекъ нослів грибного дождика, изъ муравы выскочилъ, не великъ еще, а отовсюду его видио, —всів на него поглядываютъ и улыбаются: — «Вотъ-де какой крівенькій, да хорошенькій».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я вамъ нередаваль, что говориль о немъ его экзекуторъ и губернаторъ, а когда я полюбонытствоваль, не слыхаль ли чего-пибудь о немъ одинъ изъ моихъ чиновинковъ сивтскаго направленія, такъ опи оба въ разъ заговорили, что встрячали его, и что опъ въ самомъ двле очень милъ и хороню постъ съ гитарой и съ фортеніано. И имъ онъ тоже правился. На другой день заходитъ протопонъ. Онъ, какъ я побывалъ у него въ церкви, всякій праздинкъ приносилъ мив просфору и на всехъ священно-ябедничатъ. Онъ ни о комъ хороню не говорилъ и въ этомъ отношеніи не двлалъ исключенія и для Ивана Петровича, по зато священно-ябедникъ зналъ не только природу всякой вещи, по и ем происхожденіе. Про Ивана Петровича опъ самъ началъ:

- Вамъ чинца обмънили. Это все съ умыслыю...
 Да, говорю, какого-то Ивана Петровича дали.
- Відомъ намъ, какъ же, довольно відомъ. Мой своякъ, на котораго місто я сюда переведень съ обязательствомъ восинтать сиротъ, онъ его и крестилъ... Отецъ-то тоже быль изъ колокольныхъ дворянъ... въ приказные вышелъ, а матъ... Кира Инполитовна... Такое у нея имячко,—она по страстной любви къ его родителю уходомъ за него унла... Скоро, однако, вкусила и горечи любовнаго зелья, а потомъ и овдовіла.

Она сама сына воспитывала?

— Да какое ого восинтаніе: въ гимназін классовъ пять проучился, да и пошель въ писатели въ уголовную палату... современемъ помощинкомъ сдълали... А счастливъ очень: въ прошломъ году коня съ съдломъ въ лотерею выигралъ и съ губернаторомъ на охоту нынче за зайцами ѣздилъ... Фертеніанъ,—полковые выходили такъ разыгрывали, — опять тоже ему достался. И пять билетовъ взялъ и не выигралъ, а опъ всего одинъ, да и на тотъ получилъ. Самъ музычить и Татьяну учитъ.

Это кто же,—Татьяна?

— Сиротку они взяли,—пичего себѣ... черномазенькая. Опъ ее обучаеть.

Весь день проговорили объ Иванъ Петровичь, а вечеромъ, слышу, у моего Егора въ комнаткъ что-то жужжитъ. Заву его и спраниваю: «что это у тебя такое?»

— Это, отвъчаеть, и прошлен дълаю.

-- Что еще за пропилеи?

Иванъ Петровниъ, обративъ вниманіе, что Егоръ скучаетъ отъ бездъйствія, принесъ ему пилокъ и дощечекъ отъ сигарныхъ ящиковъ съ наклесниыми узорами и научилъ сто подставочки выпиливать. Заказъ далъ съ дотерев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Утромъ въ тотъ день, когда Иванъ Петровнчъ вечеромъ долженъ былъ и играть, и всъхъ удивлять въ картинахъ на инру у губернатора, я не хотътъ его задерживать, но онъ оставался при миъ до объда и даже очень насмънилъ меня. Я ношутилъ, что ему надо бы жениться, а онъ отпъчалъ, что предпочитаетъ остаться «въ дъвушкахъ». Въ Истербургъ его звалъ.

— ПЕть, говорить, —ваше превосходительство, меня зд<mark>всь</mark> всь любять, да и мать, и сиротка Таня у насъ есть, я ихъ

люблю, а онв для Истербурга не годятся.

Удивительно, какой гармоничный молодой челов'яты! Я его даже обняль за эту любовь къ матери и спротив, и вы разстались за три часа до картинъ.

На прощанье и сказалъ:

— Нетерийливо жду васъ видить въ разныхъ видахъ.

Падовиъ, — отвъчалъ Иванъ Петровичъ.

Онъ ушелъ, а я пообъдалъ одинъ и прикорнулъ въ креслъ, чтобы быть бодръе, но Иванъ Истровичъ не далъ мив за-

снуть, онъ меня скоро и немножко странно потревожиль. Вдругь вошель очень сибиной походкой, шумно оттолкнуль погою стонешіе посреднив компаты стулья и говорить:

— Вотъ можете меня видьть; но только покорио васъ благодарю,—вы меня сплазили. Я вамъ за это отомич.

Я проспулся, позвониль человіка и велікть подавать одіваться, и самъ себі подивился: какъ ясно привиділст мить во сиб Иванъ Петговичъ!

Прівзжаю въ губернатору — все освінцено и гостей уже

много, по самъ губернаторъ, встръчая меня, шенчеть:

Разет оплась самая лучшая часть программы; картины не могутъ состояться.

-- А что случилось?

— Тессъ... и не хочу говорить громко, чтебы не портить сбщаго внечатления. Иванъ Петровичъ умеръ.

— Какъ!.. Иванъ Петровичъ!.. умеръ?!

- Да, да, ла, - умеръ.

— Помилуйте, опъ три часа тому назадъ былъ у мени

здоровъ-здоровешенскъ.

— Пу и вотъ, придя отъ васъ, прилегъ на диванъ да и умеръ... И вы знаете... я долженъ вамъ сказать на тотъ случай, чтобы его матъ... она въ такомъ безумін, что можетъ прибъжать къ вамъ... Она, несчастная, убъждена, что вы и есть виновникъ смерти сына.

— Какимъ образомъ? Отравили его у меня, что ли?

— Этого она не говорить. — Что же она говорить?

— Что вы Ивана Петровича *слазили!*— Позвольте говорю — что за пустили!

— Нозвольте, говорю, что за пустики!
— Да, да, да, отвъчаетъ губернаторъ: — все это, разумъется, глуности, по въдь вдъсь провинція, здъсь глуностимъ охотиве върять, чъмъ умностимъ. Разумъется, пе стоять обращать вниманія.

Въ это время губернаторию предложила мив карту.

Я сёль, но что я только выносиль за этою мучительною игрою, — и сказать вамь не могу. Во-первыхъ, мучить сознаніе, что этоть милый молодой человікъ, которымъ я такъ любовался, лежить теперь на столів, а во-ьторыхъ, мий безирестанно кажется, что вей о немъ шенчутъ и на меня указывають «сглазилъ». Даже слышу это глупое слово «сглазилъ, сглазилъ», а въ-третьихъ, незвольте вамъ за

пстину сказать, ито ли, наметался, — куда ин взгляну — все Пванъ Петровичь... То онъ ходить, прогуливается по пустой зать въ которую открыты дверя; то стоять двое, разговаривають, —и онъ возть имхь, слушаеть. Нотомъ вдругь сколо самого меня является и въ карты смотрить... Туть и, разумьется, и понесу съ рукъ что понало, а мой vis-å-vis обижается. Наконецъ даже другіе стали это замьчать и губерцаторъ шениуль мив на ухо:

— Это вамъ Иванъ Петровичъ портить: онъ вамъ метитъ

за себя.

— Да, говорю,—я дъйствительно разстроенъ и ми<mark>в очень</mark> нездоровится. И прошу позволенія расписать игру и меня

уволить.

Это одолжение миъ сдвлали, и я сейчаст же повхалъ домой. По я вду на саляхъ и Пванъ Петровичъ со мною, — то рядомъ сидитъ, то на облучив съ кучеромъ явится, а лицомъ ко мив.

Думаю: не горячка ли у меня начинается?

Прібхаль домой—еще хуже. Чуть легь вы постель и погасиль огонь,—Пванъ Петровичь сидить на краю кровати

и даже говорить:

— Вы, говорить, — меня вѣдь въ самомъ дѣлѣ сглазили, и и умеръ, а мив никакой надобности не было такъ рано умпрать. Въ томъ-то и дѣло!.. Меня всѣ такъ любили, и тоже матунка, и Ташона — она еще недоучена. Какое имъ отъ этого ужасное горе.

И позваль человыка и, какъ это ни было неловко, велёль ему лечь у себя на коврё, но Иванъ Петровичь не бонгся, куда ин оборочусь—онъ торчить нередо мною да и баста.

Насилу и утра дождался, и первымъ дѣломъ послалъ одного изъ своихъ чиповниковъ къ матери покойнаго, чтобы отвезъ и какъ можно деликативе передалъ ей триста рублей на похороны.

Тотъ возвращается и привозить деньги назадъ: гово-

рить — не припяли,

— Что же, спраниваю,—сказали?

— Сказали, что «не надо: его добрые люди похоронять».

Я. значить, быль на счету элыхъ.

А Ивант-то Петровичъ, какъ только я про него всиомню, сейчасъ тутъ и есть.

Въ сумерки не могъ оставаться спокойно: взялъ извосчика и самъ побхалъ, чтобы взглянуть на Ивана Петровича и поклониться. Это ведь въ обычае, и я думаль, что никого не обезнокою. А въ карманъ взялъ все что могъ -семьсоть рублен, чтобы упросить ихъ принять хоть или Таки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Видель Ивана Петровича: лежить «Белый орель» какъ

подстрвленный.

Таня тугь же ходить. Такая, действительно, черномазенькая, леть нятнадцати, въ коленкоровомъ трауре и все нокойника оправляеть. По головъ его ноправить и понълуеть.

Какое терзаніе это видіть!

Попросиль ее: нельзи ли мив поговорить съ матерью

Ивана Петровича.

Дввушка отвівчала «хороню» и ношла въ другую компату, а черезъ минуту отворяеть дверь и приглашаеть взойти, но только-что я вошель въ комнату, гдв сидела старушка, та сейчась встала и извиняется:

- Ивть, простите меня, - я напрасно на себя понады-

лась, и не могу васъ видеть, -- и съ этимъ упила.

Я быль не обижень и не сконфужень, а просто пода-

вленъ и обратился къ Танъ:

- Ну, хоть вы, молодое существо, можеть-быть, вы можете быть ко мив добрве. Ввдь и же, повврыте, не желаль и не имълъ причины желать Ивану Петровичу какого-иибудь несчастія, а тімь меньше смерти.

— Върю, — уронила она. — Ему никто не могъ желать ин-чего дурного, — его вев любили.

- Поварьте, что въ два-три дия, которые я его видать, и и полюбиль его.
- Да, да, сказала она. О, эти ужасные «два-три дии», зачимь они были? Но тети это въ гори такъ обощлась съ вами; а мив васъ жалко.

И она протяпула мив объ ручки.

И взяль ихъ и сказаль:

- Влагодарю васъ, милое дити, за эти чувства; они двлають честь и вашему сердцу, и благоразумію. Нельзя же, въ самомъ двяв, вврить такому вздору, будто и его сглазилъ!

[—] Знаю, —отвъчала она.

- Такъ явите же мив даску... сдвлайте мив одолжение со имя ero!
 - Какое одолжение?
- Возьмите воть этотъ конвертъ... туть немножко денегъ... это на доманнія надобностя... для тети.
 - Она не приметь.
- Ну, для васъ... для вашего образованія, о которомъ заботился Иванъ Истровичь. Я глубоко увъренъ, что онъ бы это оправдалъ.
- Нѣтъ, благодарю васъ, я не возъму. Опъ никогда ни у кого инчего не бралъ даромъ. Опъ былъ очень, очень благородный.
- Но вы меня этимъ огорчаете... вы, значить, на меня сердитесь.

— Нъть, не сержусь. Я вамъ дамъ доказательство.

Она раскрыла лежавшій на столь французскій учебникь Олендорфа, торопливо достала лежавшую тамъ между страниць фотографическую карточку Ивана Петровича и, подавая ее мив, сказала:

— Воть это онь положиль. До сихъ поръ мы вчера до-

учились. Возьмите это оть меня на намять.

Твив свиданіе и кончилось. На другой день Ивана Петровича хоронили, а потомъ я еще дней восемь оставался въ городъ и все въ той же мучительности. Ночью пътъ сна; прислушиваюсь къ каждому шорску; открываю фортки въ окнахъ, чтобы хоть съ улицы долеталъ какой-инбудь свъжій человъческій голосъ. По мало пользы: идутъ два человъка, разговаривають, — прислушиваюсь, — про Ивана Петровича и про меня.

— Воть здёсь, говорять, - живеть этоть чорть, что Ивана

Петровича сглазнаъ.

Постъ кто - то, возвращансь въ тининѣ почи домой, слыпу какъ у него сиѣгъ подъ погами хруститъ, разбираю слова: «Ахъ. бывалъ и удалъ», жду, когда иѣвецъ поронияется съ моимъ окномъ, глижу это самъ Иванъ Пстровичъ. А тутъ еще и отецъ - протојерей жалуетъ и пенчетъ:

 - - Стазъ и пріурокъ есть, да въдь это цыплять глазять а Ивана Петровича отравили...

Мучительно!

- Для чего и кто могь его отравить?
- Опасались, чтобы онъ вамъ всего не разсказамъ..

Его бы непремённо издо было распотронить. Жаль, что из распотронили. Ядь бы нашли.

Господи! избавь меня хотя оть этой подозрительности!

Наконецъ, вдругъ совершенно неожиданно получаю конфиденціальное письмо отъ директора канцелярін, что графъ предписываетъ мив ограничиться тыть, что я успілъ сділать, и нимало не медля верпуться въ Петербургъ.

Я быль очень этому радь, въ два дня собрался и укхалъ. Дорогою Иванъ Истровичь не отставаль, — ивтъ-ивтъ, да и нонажется, но тенерь отъ перемвны ли мвста, или отъ того, что человыть ко всему привыкаетъ, я осмелять и даже привыкъ къ нему. Мотается опъ у меня въ глазахъ, а я ужэ инчего; даже иногда въ дремотв какъ будто другъ съ другомъ шутимъ. Опъ грозится: — «пробралъ я тебя!»

А я отвычаю:

— А ты все-таки по-французски не выучился!

А онъ отвъчаеть:

- На что мић учиться: я теперь отлично самоучкой жарю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Петербургѣ я почувствоваль, что мною не то что педовольны, а хуже, какъ-то сожалительно, какъ-то странно на меня смотрятъ.

Самъ Викторъ Никитичъ видёлъ меня всего одну минуту и не сказалъ ни слова, но директору, который былъ женать на моей родственинцѣ, опъ говорилъ, что ему ка-

жется, будто я пездоровъ...

Разъяснений не было. Черезъ педълю подошло Рождество, а потомъ Новый годъ. Разумбется, праздинчива сутолога—ожидание наградъ. Меня это не сильно озабочнвало, тъмъ болье, что я знатъ мою награду—«Бълый орелъ». Родственища моя, что за директоромъ, еще наканунъ миъ и орденъ съ лентой въ подарокъ прислала, и я неложилъвъ бюро и орденъ, и конвертъ со ста рублями для курьеровъ, которые принесутъ приказъ.

Но почью вдругь толкь меня въ бокъ Иванъ Петровичъ и педъ самый подъ носъ мив шишъ. При жизни опъ былъ гораздо деликативе, и это совсвиъ не отвъчало его гармонической натуръ, а теперь, какъ сорванецъ, ткиулъ шпитъ и говоритъ:

— Съ тебя нока вотъ этого довольно. Мив надо къ бъдной Такк, – и синкъ. Ветаю утромъ куртеровъ съ приказомъ пътъ. Сприну къ

зятю узнать: что это значить?

— Ума, говорить, — не приложу. Выло, стояло и вдругь точно въ нечати вынало. Графъ вычеркнуль и сказалъ, что это онъ лично доложитъ... Тебв, знаешь, вредить какая-то кеторія... Какой-то чиновникъ, выйдя отъ тебя, какъ-то подо-григельно уморъ... Что это такое было?

— Оставь, говорю, — сділай милость.

— Ивть, въ самомъ двяв... графъ даже не разъ спраишвалъ: какъ ты въ своемъ здоровъв... Огтудъ разныя лида писали и въ томъ чисяв общій духовникъ, протопоиъ... Какъты могъ позволить вмізнать себя въ такое странное діло?

Какъты могъ позволить вмыпать себя въ такое странное дкло? Я слушаю, а самъ,—какъ Иванъ Петровичь изъ-за могилы сталъ дклать,—чувствую одно желаніе ему языкъ или

ишив показать.

А Иванъ Петровичъ, по награждении меня ининомъ вмѣсто «Бѣлаго орла», исчетъ и не показывался ровно три года, когда сдѣлалъ мив заключительный и притомъ всѣхъ болѣе осязательный визитъ.

ГЛАВА ОДИНИАДЦАТАЯ.

Было опять Рождество и Иовый годъ и также ожидались изграды. Меня уже давно обходили, и я объ этомъ не заботился. Не дають и но надо. Встръчали Иовый годъ у сестры, — очень весело, — гостей много. Здоровые люди ужинали, а я передъ ужиномъ носматриваю какъ бы улизнуть и подвигаюсь къ двери, по вдругъ слышу въ общемъ говоръ такія слова:

— Теперь мои скитальчества кончены: мама со миоло. Тапюща устроена за хоровнаго челов'ька; носл'ядиюю шутку сд'ялаю и же манъ вэ! И потомъ вдругь протяжно зап'ять:

Прощай, мол родная, Прощай, мол земля.

«Э-ге, думаю,—-опять ноказался, да еще и французить пачаль... Ну, я лучие кого-инбудь подожду, одинь по льст-инць не пойду».

А она мимо меня изводить проходить, все въ томъ же випмундиръ съ нышнымъ гранатиаго цвъта галстукомъ, и только минула, вдругъ нарадная дверь такъ хлопнула, что весь домъ затрясся.

Хозяниъ и люди бросились носмотрѣть: не добрался ли

кто до гостиныхъ шубъ, по все было на мъстъ и дверь на ключъ... Я молчалъ, чтобы онять не сказали «галюцинатъ» и не стали освъдомляться о здоровьъ. Хлоннуло и шабангь, — мало ли что можетъ хлонатъ...

И досидъть случая, чтобы не одному идти, и благонолучно возвращаюсь домой. Человѣкъ у меня былъ уже не тоть, который со мною ѣздилъ и которому Иванъ Петровичъ проинлейные уроки давалъ, а другой; встрѣчаетъ онъ меня немножко заснанъ и свѣтитъ. Проходимъ мимо конторки, и я ввжу что-то лежитъ бѣлой бумагой прикрыто... Смотрю—мой орденъ Бѣлаго орла, который тогда, помните, сестра подарилъ... Онъ всегда запертъ былъ. Какъ онъ могъ взяться! Конечно, скажутъ: «самъ вѣрно въ забывчивости вынулъ». Такъ не стану объ этомъ спорить, по а вотъ это что такое: на столикѣ у моего изголовъя небольшой конвертикъ на мое имя и рука какъ будто знакомая... Та самая рука, которою было наинсано «жизпь на радость памъ дана».

— Кто принесъ? спраниваю.

А человътъ прямо показываетъ мић на фотографію Ивана Петровича, которую я берегу, намять отъ Танюши, и говорить:

— Воть этоть госнодинъ.

— Ты върно опибся.

— Никакъ истъ, говоритъ, — и его съ перваго взглида

узпалъ.

Въ конвертв оказался на почтовей бумажив экземиларъ приказа: мив дали «Бвлаго орла». И что еще лучие, всю остальную ночь и спалъ, хоти слышалъ, какъ что-то гдв-то ибло самый глупый слова: «до свидансъ, до свидансъ, —же

але о контрадансъ».

Но преподациой мив Иваномъ Петровичемъ опытности въ жизни духовъ, и нопималъ, что это Иванъ Истровичъ «пофранцузски жаритъ самоучкою», отлетая, и что онъ больше меня уже никогда не побезпоконтъ. Такъ и вышло: онъ мив отметилъ и помиловалъ. Это понятно. А вотъ почему у нихъ, въ мірв духовъ, все такъ спутано и смъщано, что жизнъ человъческая, которая всего дороже стоитъ, отомщевается пустымъ пуганьемъ да орденомъ, а прилетъ изъ высшихъ сферъ сопровождается глунъйшинъ пъніемъ «до свидансъ, же але о контрадансъ», этого я не понимаю.

ЧЕРТОГОНЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Это обридъ, который можно видьть только въ одной Москвв и притомъ не пиаче какъ при особомъ счастій и протекцій.

И видъть чертогонъ съ начала до конца, благодаря одному счастливому стечению обстоятельствъ, и хочу это записатъ для настоящихъ знатоковъ и любителей серьезнаго и величественнаго въ національномъ вкусъ.

Хотя я съ одного бока дворянииъ, по съ другого близокъ къ «пароду»: мать моя изъ купеческаго званія. Она
выходила замужь изъ очень богатаго дома, по вышла уходомь, по любви къ моему родителю. Покойникъ былъ молодець по женской части и что намічаль, того и достигать.
Такъ ему удалось и съ мамашей, по только за эту ловкость
матушкины старики инчего ей не дали, кромів, разумівется,
гардеробу, постелей и Божьяго милосердія, которые были
получены вмістіє съ прощеніемъ и родительскимъ благословеніемъ навіки неруанмымъ. Жили мои старики въ Орлів,
жили нуждио, но гордо, у богатыхъ материныхъ родныхъ
ничего не просили, да и сношеній съ ними не иміжи. Однако, когда мить принилось такть въ университеть, матушка
стала говорить:

— Пожалуйста сходи къ дядь Ильь Оедосвевичу и отъ меня ему поклонись. Это не упиженіе, а старшихъ родныхъ уважать должно,—а онъ мой брать, и къ тому благочестивъ и большой въсъ въ Москвъ имъеть. Онъ при всьхъ встръчахъ всегда хаъбъ-соль подаеть... всегда вис-

реди прочимъ стоитъ съ блюдомъ, или съ образомъ... и у генералъ-губернатора съ митрополитомъ принятъ... Онъ тебя

можеть хорошему наставить.

А я хотя въ то время, изучивъ Филаретовъ катехизисъ, въ Бога не вършъ, но матушку любилъ, и думаю себъ разъ: «ветъ я уже около года въ Москвъ и до сихъ поръматериной воли не исполнилъ; нойду-ка я немедленно къдядъ Илъъ Федосъпчу, повидаюсъ,—снесу ему материнъ поклопъ и взаправду погляжу, чему онъ меня научатъ».

По привычкв двтства, я быль къ стариня почтителень. — особенно къ такиять, которые изв'ястиы и митроно-

литу, и губериаторамъ.

Возставъ, почистился щеточкой и пошелъ къ дядѣ Ильѣ Осдосъичу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Выло такъ часовъ около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и съроватая,—словомъ, очень хорошо. Домъ дяди извъстепъ,—одинъ изъ первыхъ домовъ въ Москвъ,—всъ его знаютъ. Только я никогда въ пемъ пе былъ и дядю инкогда не видалъ, даже издали.

Иду, однако, сміло, разсуждая: приметь - хорошо, а ка

приметъ-не надо.

Прихожу на дворт; у подъйзда стоятъ кони-львы, сами пороные, а гривы разсынныя, шерсть какъ дорогой атласъ посинтся, а заложены въ коляску.

Я взошеть на крыльцо и говорю: «такъ и такъ—я племянинкъ, студентъ, прошу доложить Ильв Федосвичу». А люди отвъчають:

- Они сами сейчась сходять, - Бдуть кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, по девольно величественная,—въ глазахъ съ матушкою есть сходство, но выражение пное,—что называется—солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; онъ выслушалъ модча, тихо руку подалъ и говоритъ:

— Садись, пробдемся.

Я было хотыть отназаться, но какъ-то замялся и съть.

— Въ наркъ!-вельть опъ.

лывы сразу приняли и понеслись, только задокъ коляски

подпрытиваеть, а какъ за городъ выбхали еще инибче помчали,

Сидимъ ни слова не говоримъ, только вижу, какъ дядя себь палидрь праемъ въ самый лобъ връзаль и на лиць у него этакая, что называется, илюмса, какъ бываеть отъ скуки.

Туда-сюда глядить и однив разъ на меня метнуль гла-

сомъ и ин съ того, ин съ сего проговорнаъ:

- Совебы жисти ивтъ.

Л не знать, что отвъчать, и промодчать.

Спять вдемь, вдемь; думаю: куда это онъ меня завозить? и пачинаетъ мив сдаваться, что и какъ будто попаль въ какую-то статью,

А дядя вдругъ словно повериньть что-то въ умв и на-<mark>чинаетъ отдавать кучеру одно за другимъ приказанія:</mark>

— Направо, пальео. У «Яра» — стой!

Вижу изъ ресторана много прислуги высынало иъ намъ и всв передъ дядею чуть не въ три погибели глутся, а опъ изъ коляски не шевелится и велѣлъ позвать хозяина. Побъжали. Является французь, -- тоже съ большимъ почтеніемъ, а дядя не шевелител: костью набалданника налки о зубы постукиваеть и говорить:

Сколько лишиніхъ людей есть?

- Человыть до тридцати въ гостиныхъ, отвъчаетъ оранцузъ:- да три кабинета запяты.
 - Всьхъ вонъ!
 - Очень хорошо.

— Тенерь семь часовъ, — говорить, посмотрѣвъ на часы, дядя: — я въ восемь закду. Будетъ готово?

— Нътъ, отвъчаетъ, - въ восемь трудно... у многихъ заказано... а къ девяти часамъ пожалунте, во всемъ ресторань ин одного сторонняго челоська не будеть.

— Хорошо.

- А что приготовить?
- Разумъется, војоновъ.
- A еще?
- Оркестръ,
- Saung0 —
- Нътъ, два лучше.
- За Рябыкой послать?
- Разумвется.

- Французскихъ дамъ?
- Пе надо ихъ!
- Погребъ?
- Виолив.
- -- По кухив?

— Карту.

Подали дневное menue.

Дядя посмотрыть и кажется, инчего не разобрать, а можеть-быть, и не хотыть разбирать; нощельать по бумажкы налкою и говорить:

— Вотъ это все на сто особъ.

И съ этимъ свернулъ карточку и положилъ въ кафтанъ.

Французъ и радъ, и жмется:

— Я, говорить, не могу все подать на сто особъ. Здесь ссть вещи очень дорогія, которыхъ во всемъ ресторанъ всего только на нять-шесть порцій.

- А я какъ же могу монхъ гостей разсортировывать?

Кто что захочеть, всякому чтобь было. Понимаень?

- Понимаю.

А то, братъ, тогда и Рябыка не подъйствуетъ. Пошелъ!
 Оставили ресторанцика съ его дакеями у подъйзда и покатили.

Туть я уже совершенно убъдился, что попаль не на свои рельсы и попробоваль-было попроститься, но дядя не слышаль. Онь быль очень озабочень. Бдемь и только то одного, то другого останавливаемь.

- Въ девять часовъ къ Пру! говорить коротко каждому

дада.

А люди, которымъ онъ это сказываетъ, все почтенные такие старцы, и всв снимаютъ шляны и также коротко отвичаютъ дядъ:

- Твои гости, твои гости, Өедосвичъ.

Такимъ порядкомъ не помию, сколько мы остановили, но я думаю человъкъ двадцать, и какъ разъ приило девять часовъ, мы онять нодкатили къ Яру. Слугъ цёлам толна высынала навстръчу и берутъ дядю подъ руки, а самъ французъ на крыльцъ салфеткою ныль у него съ нанталонъ обилъ.

— Чисто? спраниваетъ дядя.

 Одинъ генералъ, говоритъ, запоздалъ, очень просился въ кабинетъ кончитъ... - Сейчасъ воиъ его!

Онъ очень скоро кончить.

Пе хочу, -довольно я ему далъ времени-теперь пусть

идеть на траву добдать.

Не знаю, чёмъ бы это кончилось, но въ эту минуту генераль съ двуми дамами вышель, сёлъ въ коляску и уёхалъ, в къ подъёзду одинъ за другимъ разомъ начали прибывать гости, приглашенные дядею въ наркё.

глава третья.

Ресторанъ былъ убранъ, чисть и свободенъ отъ посвтителей. Только въ одной залѣ сидѣлъ одинъ великанъ, который встрѣтилъ дядю молча и, ни слова ему не говоря, взялъ у него изъ рукъ налку и куда-то ее спряталъ.

Дядя отдаль налку инмало не противорьча и туть же

передаль великацу бумажинкъ и портмона.

Этоть полусждой, массивный великанъ быль тоть самый Рябыка, о которомъ при мив дано было ресторатору пенопятное приказапіе. Онъ былъ какой-то «дітскій учитель»,
по и тутъ опъ тоже, очевидно, находился при какой-то
особой должности. Опъ быль здісь столь же необходимъ,
какъ цыгане, оркестръ и весь туалетъ, миновенно явившійся въ полномъ сборъ. Я только не понималъ: въ чемъ
роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности.

Прко осв'вщенный ресторавъ работалъ: музыка грем'вла, а цыгаве расхаживали и закусывали у буфета, дядя обозр'ввалъ комнаты, садъ, гротъ и галлереи. Опъ везд'в смотр'влъ «п'втъ ли непринадлежащихъ», и рядомъ съ нимъ безотлучно ходилъ учитель, но когда опи возвратнинсь въглавную гостиную, гд'в вс'в были въ сбор'в, между ними зам'вчалась большая развица: ноходъ на нихъ д'в'йствовалъ не одинаково: учитель былъ трезвъ, какъ вышелъ, а дядя совершен по ньянъ.

Какъ это могло столь скоро произойти—не знаю, по онъ былъ въ отличномъ настроенін; сълъ на предсъдательское

мвсто и поина инсать столица.

Двери были заперты и о всемъ мірѣ сказано такъ: «что и отъ нихъ къ намъ, ни отъ насъ къ нимъ нерейти нельзи». Насъ разлучала пронасть,—пронасть всего вина, яствъ, а главное—пронастъ разгула, не хочу сказать безсбразнаго,—по дикаго, пеистоваго, такого, что и нередать

не умбю. И отъ меня стого не надо и требовать истому, что, видя себя зажатымъ здёсь и отділеннымь отъ міра, я оробіль и самъ поспіннять скоріве напиться. А потому я не буду излагать, какъ шла эта почь, потому что сее это описать дано не мосму перу, я номпю только два выдающіся батальные эпизода и финаль, по въ нихъ-то и загляючалось главнымъ образомъ страшивее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Доложими о какомъ-то Иванъ Стенаневичъ, какъ внослъдствін оказалесь важивіннемъ московскомъ фабриканть и коммерсанть.

Это произвело наузу.

— Въдь сказано: инкого не пускать, -- отвъчалъ дядя.

— Очень просятся.

— А гдв онъ прежде былъ, пусть туда и убирается.

Человых пошель, по робко идеть назадь.

— Пванъ Степанычъ, говорить,—приказали сказать, что они очень покорно просятся.

— Не надо, я не хочу.

Другіе говорять: «пусть штрафъ заплатить».
-- Нать! гнать прочь, и штрафу не надо.

По человъкъ является и еще робче заявляетъ:

— Они, говоритъ, —всякій штрафъ согласны, —только въ ихъ годы, отъ своей компаніи отстать, говорять, — имъ очень грустио.

Дяди всталь и сверкнуль глазами, но вы это же время между инмъ и лакеемъ всталъ во весь ростъ Рябыка: лъвой рукой, какъ-то одинмъ щинкомъ, какъ цыпленка, опъ отшвырнулъ слугу, а правою посадилъ на мъсто дядю.

Изъ среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить его,—взять ето рублей штрафу на

музыкантовъ и пустить.

— Свой братъ, старикъ, благочестивый, куда ему тенерь дъваться? Отобьется, пожалуй еще скандалъ сдълаетъ на виду у мелкой публики. Ножальть его надо.

Дядя внявъ и говорить:

— Если быть не по-мосму, такъ и не по-вашему, а по-Божью: Ивану Степанову впускъ разрѣшаю, по только опъ долженъ бить на литаврѣ.

Пошель пересказчикь и возвращается.

— Просятъ, говорятъ, - лучше съ нихъ штрафъ взять.

 Къ чорту! — не хочетъ барабанить — не надо, – пусть его куда хочетъ вдетъ.

Черезъ малос время Иванъ Степановичъ не выдержаль

и присылаеть сказать, что согласень въ литавры бить.

— Пусть придеть.

Входить мужъ нарочито великъ и видомъ почтененъ: обликомъ строгъ очи угасли, хребетъ согбенъ, а брада комовата и празелень. Хочетъ шутить и здороваться, но его остепеняютъ.

— Нослѣ, послѣ, это все нослѣ, — кричить ему дядя: — теперь бей въ барабанъ.

— Бей въ барабанъ! — подхватывають другіе.

— Музыка! подлитаврную.

Оркестръ начинаетъ громкую пьесу, солидный старецъ беретъ деревянныя колотилки и начинаетъ въ тактъ и не въ тактъ стучать по литаврамъ.

Шумъ и крикъ адскій: всв довольны и кричать:

— Громче!

Иванъ Степановичъ старается сильивс.

-- Громче, громче, еще громче!

Старецъ колотитъ во всю мочь, какъ Черный царь у Фрейлиграта, и, наконецъ, цфль достигнута: литавра издаетъ отчаянный трескъ, кожа лонается, всё хохочутъ, шумъ сталовится невообразимый, и Ивана Степановича облегчаютъ, за прорванные литавры, штрафомъ въ иятьсотъ рублей въ пользу музыкантовъ.

Онъ илатить, отираеть потъ. усаживается и въ то время. какъ всѣ ньють его здоровье, онъ, къ немалому своему

ужасу, замвиаетт между гостями своего зятя.

Опять хохоть, опять шумь и такъ до потери мосго сознанія. Въ редкіе просветы памяти вижу, какъ плящуть цыганки, какъ дрыгаетъ погами, сидя на одномъ месте, дядя: потомъ, какъ онъ передъ кемъ-то встаетъ, но тутъ же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетелъ и дядя садится, а передъ нимъ, въ столе, торчатъ две воткнутыя вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но воть въ окно дохнула свѣжесть московскаго утра, я снова что-то созналь, но какъ будто только для того, чтобы усомниться въ разсудкъ. Было сражение и рубка лѣсовъ: слышался трескъ, громъ, колыхалнсь деревья, дѣвственныя,

экзотическія деревья, за ними кучею жались въ углу какія-то смуглыя лица, а здёсь, у корней, сверкали страшные топоры и рубилъ мой дядя, рубилъ старецъ Иванъ Степа-

новичъ... Просто средневъковая картина.

Это «брали въ плънъ» спритавшихся въ гротъ за деревьями цыганокъ, цыгане ихъ не защищали и предоставили собствелной энергіи. Шутку и серьезъ тутъ не разобрать: въ воздухъ летъли тарелки, стулья, кампи изъ грота, а тъ всъ врубались въ лъсъ и всъхъ отважите дъйствовали Иванъ Степанычъ и дядя.

Наконець, твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцілованы, каждый— каждой сунуль по сторублевой за «корсажь», и діло кончено...

Да: сразу вдругъ все стихло... все кончено. Никто пе помбиналъ, но этого было довольно. Чувствовалось, что какъ безъ этого «жисти не было», такъ зато теперь довольно.

Встыть было довольно и вст были довольны. Можетъ-быть, имфло значение и то, что учитель сказаль, что ему «пора въ классы», но, впрочемъ, все равно: вальпургива ночь прошла, и «жисть» опять пачиналась.

Публика не разъвзжалась, не прощалась, а просто исчезла: ин оркестра, ни цыгант уже не было. Ресторанъ представляль ноливниее разорение: ин одной драпировки, ни одного цвлаго зеркала, — даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся въ кускахъ, и хрустальныя призмы ея помались подъ ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дял сидвлъ одинъ посреди дивана и инлъ квасъ; онъ по временамъ что-то вспоминалъ и дрыгалъ ногами. Возлю него стоялъ посибшавший въ классы Рябыка.

Имъ подали счетъ, — короткій: «гуртомъ писанный

Рябыка читаль счеть внимательно и потребоваль полгоры тысячи скидки. Съ нимъ мало спорили и подвели итогъ: опъ составляль семнадцать тысячъ, и просматривавшій его Рябыка объявилъ, что это добросовъстно. Дяди произнесъ односложно: «плати», и затъмъ надълъ шляпу и кивиулъ мив за нимъ следовать.

Я, къ ужасу мосму, видълъ, что онъ ничего не забылъ и что мив невозможно отъ него скрыться. Онъ мив былъ чрезвычайно страшенъ, и я не могъ себв представить, какъ и останусь въ этомъ его ударв съ глазу-на-глазъ. Прихва-

тиль онь меня съ собою, даже двухъ словъ резонныхъ не сказалъ, и вотъ таскастъ, и иельзя отъ него отстать. Что со мною будетъ? у меня весь и хмель проналъ. Я просто только боялся этого страпинаго, дикаго звъря, съ его невъроятною фантазісю и ужаснымъ размахомъ. А между тъмъ мы уже уходили: въ передней насъ окружила масса лакеевъ. Дядя диктовалъ: «по ияти» — и Рябыка расплачивался; ниже илатили дворинкамъ, сторожамъ, городовымъ, жандармамъ, которые всъ оказывали намъ какія-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тутъ еще на всемъ видимочъ пространствъ парка стояли извозчики. Ихъ было видимо-невидимо, и всѣ они тоже ждали насъ. — ждали батюшку Илью Федосѣича, «не понадобится ли зачѣмъ послать его милости».

Узнали сколько ихъ и выдали всѣмъ по три рубля, и мы съ дядей сѣти въ коляску, а Рябыка подалъ ему бумажникъ.

Илья Өедөс"Анчъ выпулъ пзъ бумажника сто рублей и подалъ Рябыкъ.

Тотъ повернулъ билетъ въ рукахъ и грубо сказалъ:

— Мало.

Дядя накинулъ еще двъ четвертки.

— Да и это недостаточно: — въдь ни одного скандала не было.

Дядя прибавиль третью четвертную, послѣ чего учитель подаль ему палку и откланялся.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы остались вдвоемь, съ глазу-на-глазъ, и мчались назадъ въ Москву, а за нами, съ гикомъ и дребезжаніемъ, песлась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимать, что имъ хотълось, но дядя понялъ. Это было возмутительно: имъ хотълось еще сорвать отступного и вотъони, подъ видомъ оказанія особой чести Иль'я Федостичу предавали его почетное высокостепенство всесв'ятному позору.

Москва была предъ носомъ и вся въ виду, — вся въ прекрасномъ утрениемъ освѣщении, въ легкомъ дымкъ очагови и мириомъ благовъстъ, зовущемъ къ молитвъ.

Вправо и вяво къ заставъ шли лабазы. Дядя всталь у

крайняго изъ нихъ, подощелъ къ стоявшей у порога липовой кадкъ, и спросиль:

— Мелъ?

— Мелъ,

— Что стоитъ кадка?

— На мелечь, по фунтамъ, продаемъ.

— Продай на крупное: смекни, что стоитъ.

Не помню, кажется, семьдесять или восемьдесять рублей онъ смекнулъ.

Дядя выбросиль деньги.

А кортежъ нашъ надвинулся.

- Любите меня, молодцы, городскіе извозчики?
- Какъ же, мы завсегда къ вашему степенству... Привязанность чувствуете?
- Очень привязаны.
- Синмай колеса.
- Тѣ недоумвваютъ.
- Скорфі, скорфі! командуеть дядя.

Кто попрытче, человъкъ двадцать, слазили подъ козла, достали ключи и стали развертывать гайни.

- Хорошо, говорить дядя: теперь мажь медомъ.
- Батюшка!
- Мажы!
- Этакое добро... въ ротъ любонытиве.
- Мажь!

И не настанвая болье, дядя снова съль въ коляску, и мы понеслись, а тв, сколько ихъ было, всв остались съ снятыми колесами надъ медомъ, которымъ они колесъ върно не мазали, а растащили по карманамъ, или персиродали лабазнику. Во всякомъ случать, ени насъ оставили, и мы очутились въ баняхъ. Тутъ я себт ожидалъ кончину въка. и ни живъ, ни мертвъ сидълъ въ мраморной ваннъ, а дядя растянулся на полъ, не не просто, не въ обыкновенной позъ, а какъ-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучнаго тела униралась объ полъ только самыми кончиками ножныхъ и ручныхъ пальцевъ и на этихъ тонкихъ точкахъ опоры красное тёло его трепетало подъ брызгами пущеннаго на него холоднаго дождя и ревъль онъ сдержаннымъ ревомъ медвъдя, вырывающаго у себя больинчку. Это продолжалось съ полчаса и онъ все одинаково весь трепеталъ какъ желе на тряскомъ столь, пока, наконецъ, сразу

вспрыгнулъ, спросилъ квасу, и мы одёлись и поёхали на

Кузнецкій «къ французу».

Здвсь насъ обонкъ слегка подстригли и слегка завили и причесали, и мы ившкомъ перешли въ городъ — въ лавку.

Со мной все истъ ни разговора, ни отпуска. Только разъ

сказалъ

Погоди, не все вдругъ;—чего не понимаешь—съ лътамъ поймень.

Въ лавкъ онъ помолился, взглянувъ на всъхъ хозяйскимъ окомъ, и сталъ у конторки. Внъшность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищенія.

Я это видѣлъ и теперь пересталъ бояться. Это меня заиимало,—я хотѣлъ видѣть, какъ онъ съ собою раздѣлается:

воздержаніемъ, или какой благодатію?

Часовъ въ десять онъ сталъ больно нудиться, все ждалъ и высматривалъ соседа, чтобы идти втроемъ чай ишть, — троимъ собираютъ на цёлый интакъ дешевле. Соседъ не вышелъ: померъ скорописною смертью.

Дядя перекрестился и сказалъ:

— Всв помремъ.

Это его не смутило, несмотря на то, что они сорокъ

льть вывств ходили въ Новотроицкій чай пить.

Мы позвали сосъда съ другой стороны и не разъ сходили, того-сего отвъдали, но все на-трезво. Весь день я просидъть и проходилъ съ нимъ, а передъ вечеромъ дядя послалъ взять коляску ко Всенътой.

Тамъ его тоже знали и встрътили съ такимъ же поче-

томъ, какъ у Яра.

— Хочу насть передъ Всепьтой и о грахахъ ноплакать.

А это, рекомендую, мой племяшъ, сестры сынъ.

— Пожалуйте, —говорять инокини: —пожалуйте, отъ кого же Всепътой, какъ не отъ васъ, и покаянье принять, — всегда Ея обители благодътели. Теперь къ Ней самое расположеніе... всенощная.

— Пусть кончится, — я люблю безъ людей и чтобъ мив

благодатный сумракъ ед Глать.

Ему сдълали сумракъ: погасили все, кромъ одной или двухъ ламиадъ и больной глубокой ламиады, съ зеленымъ стаканомъ, передъ Самою Всенътою. Дядя не упаль, а рухнуль на колени, потомъ удариль

лоомъ объ полъ ницъ, всилипнулъ и точно замеръ.

Я и двѣ инокини сѣли въ темномъ углу, за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежатъ, не подавая ни гласа, пи послушанія. Мнѣ казалось, что онъ о́удто уснулъ, и я даже сообщилъ объ этомъ монахинямъ. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свѣчечку, зажала ее въ горсть и тихо-тихонько направилась къ кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочкахъ, она возмутилась и шеннула:

Дайствуетъ... и съ оборотомъ.

— Почему вы замъчаете?

Она пригнулась, давъ знакъ п мнѣ сдѣлать то же, п сказала:

— Смотри прямо черезъ огонекъ, -- гдв его ножки.

— Вижу.

— Смотрите. какое бореніе!

Всматриваюсь и, дъйствительно, замъчаю какое-то движеніе: дядя благоговъйно лежить въ молитвенномъ положеніи, а въ ногахъ у пего словно два кота дерутся, — то одинъ, то друго другъ друга борють, и такъ частенько, такъ и прыгаютъ.

-- Матушка, говорю, -- откуда же эти коты?

— Это, отвъчаетъ, — вамъ только показываются коты, а это не коты, а искушеніе: видите, онъ духомъ къ небу горитъ, а ножками-то еще къ аду перебираетъ.

Вижу, что и дъйствительно это дядя ножками вчеращняго тренака доплясываеть, но точно ли онъ и духомъ те-

перь къ небу горить?

А онъ, словно въ отвътъ на это, вдругъ какъ воздохнетъ, да какъ крикнетъ:

- Не поднимусь, пока не простипь меня! Ты бо одинъ

свять, а мы всь черти окаянные, —и зарыдаль.

Да вёдь таки такъ зарыдалъ, что всё мы трое съ нимъ навзрыдъ плакать начали: Господи, сотвори ему по его моленію.

И не замѣтили, какъ онъ уже стоить рядомъ съ нами и тихимъ благочестивымъ голосомъ говоритъ миѣ:

Нойдемъ—справимся. Монахини спрацивають:

- Сподобились ли, батюшка, отблескъ видъть?

— Нѣтъ, отвѣчастъ,—отблеска не сподобился, а вотъ... этакъ вотъ было.

Онъ сжалъ кулакъ и поднялъ, какъ поднимаютъ за вихоръ мальчиниекъ.

- Подняло?

— Да.

Монахиии стали креститься и я тоже, а дядя поясниль:

— Теперь мив, говорить, — прощено! Прямо съ самаго сверху, изъ-подъ кумпола, разверстой десницей сжало мив всв власы вкупв и прямо на ноги поставило...

И воть онъ не отвержень, и счастливь; онъ недро одариль обитель, гдѣ вымолиль себѣ это чудо, и онять почувствоваль «жисть» и послаль моей матери всю ея приданую долю, а меня ввель въ добрую въру народную.

Съ этихъ поръ я вкусъ народный позналъ въ падени и въ возстаніи... Это вотъ и называется чертогопъ «иже бъса чужеумія изпраздняеть». Только сподобиться этого, повторяю, можно въ одной Москвѣ, и то при особомъ счастіп, или при большой протекціи отъ самыхъ степенныхъ старцевъ.

Оглавленіе

XIV TOMA.

				CIP.
Овцебыкъ. Разсказъ				3
Колыванскій мужъ. (Изъ остзейскихъ наблюденій)				70
Ракушанскій меламедъ. Разсказъ на бивуакѣ				130
Бълый орель. Фантастическій разсказь				166
Чертогонъ				187